

ЕЛЕНА КОЛИНА

Мальчики
да девочки



И ВСЕМ
КАЗАЛОСЬ,
ЧТО РАДОСТЬ
БУДЕТ...

АСТ

Елена Колина

Мальчики да девочки

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175177

Е.Колина Мальчики да девочки: АСТ, Астрель, Харвест; Москва; 2008

ISBN 978-5-17-055321-1, 978-5-271-21802-6, 978-985-16-5964-3

Аннотация

Новая книга Елена Колиной – настоящий подарок для тех, кто когда-то зачитывался «Унесенными ветром». Метания одинокой души, которая страстно хочет не просто выжить в «окаянные дни», но и обязательно стать Счастливой, трогают настолько, что перехватывает дыхание.

Прелестная княжна, вырванная из мирка бонн и гувернанток, попадает в чужую семью, с иными традициями и ценностями. Каждый день – опасности и открытия, радости и потери. Но острый ум, обаяние, способность быть и безоглядно преданной, и крайне эгоистичной не дают сорваться в пропасть.

«Если человек утверждает, что не гонится за славой, за гениями, счастьем и богатством, то это не означает, что он досадливо машет рукой, когда все эти возжеланные вещи проносятся мимо... Скорее, они не так уж часто встречаются на его пути...»

Содержание

Пролог	4
Авантюрный роман	17
Роман	93
Глава 1. Жизнь в людях	93
Конец ознакомительного фрагмента.	100

Елена Колина

Мальчики да девочки

Мальчики да девочки

Свечечки да вербочки

Понесли домой...

Пролог

Февраль 1919 года

Сегодня Лили узнала, что она осталась одна *навсегда*. Полгода не было никаких известий, а сегодня было известие – погиб. Вообще-то Лили уже давно догадывалась, что она – одна навсегда, но догадываться, надеяться, представлять, как Рара войдет сейчас и скажет: «Ты жива, моя умница, моя мусенька» – это одно, а знать, что отца больше не будет нигде-никогда-навсегда... – это совсем другое. Никто, ни один человек в мире не скажет ей: «Ты жива, моя умница, моя мусенька», всем безразлично, живая она или мертвая, умница она или дура... и ничья она больше не мусенька.

Лили брела по Невскому проспекту, – Невский назывался теперь проспектом 25 Октября, но никто его так не называл, все по-прежнему говорили и думали «Невский». Лили взглянула на здание Пассажа, затем поглядела направо, на

Садовую, теперь улицу 3 Июля, зажмурилась и резко открыла глаза, словно рассчитывая увидеть прежнюю довоенную картинку: сверкающую над Пассажем рекламу часов «Омега», а на Садовой убегающие к Сенной трамвайные огни, красный и синий – номер 14, синий и зеленый – номер 7.

Невский *сейчас* был нисколько не похож на Невский *тогда*. В той, детской картинке, в шесть вечера, час прогулок, по Невскому струилась толпа. Толпа казалась не чужой, а вполне домашней, Рара с кем-то раскланивался, с кем-то останавливался на несколько слов, Лили благонравно стояла возле него, исподтишка разглядывала офицеров с волочащимися по земле шашками, дам в шляпах с перьями, думала, что бы ей сейчас выпросить – новую шляпку, ботинки? Или лучше сразу идти ва-банк и тащить Рара в меховую мастерскую за новой шубкой, или... или просто зайти в кондитерскую, но в какую?

Пирожные и пирожки были вкусней в кондитерской Филиппова, зато в витрине кондитерской Бормана двигались манекены: посреди карамели и плиток шоколада манекен-старушка сматывала пряжу, а манекен-музыкант пиликал на скрипке.

Они с отцом обязательно заходили к Елисееву. Отец разрешал Лили немного постоять у Елисеевского магазина, полюбоваться увитыми виноградом грудями колбас на витрине, потом отец выбирал, заказывал, а домой покупку достав-

лял рассыльный в коричневой курточке. Постоять у витрины ювелирного магазина Кноппа Лили не разрешалось – неприлично глазеть на драгоценности, зато можно было замедлить шаг у цветочного магазина Эйлерса, особенно приятно было зимой: на улице снег, а за морозным стеклом сирень, розы, гиацинты. Это было до войны, до всего. Ну, а теперь... Теперь все другое. С домов по приказу новой власти были содраны все вывески, и на месте огромных золоченых кренделей над булочными, огромных ножниц над портняжными мастерскими, рогов изобилия над бакалейными лавками зияли грязные некрашенные пятна.

Лили больше не смотрела по сторонам, лишь иногда поднимала глаза и мгновенно опускала, словно взглядывала на что-то неприличное. Не было больше Петербурга, был военный Петроград, несчастный, заросший травой, ободранный, без ярких вывесок и огней, растерянный, будто застыдившаяся наготы красавица.

Содрали вывески, а булочников, портных, бакалейщиков вымели вон. Лили и сама бы с радостью вымелась вон. Сразу после Октябрьского переворота отец отпустил почти всю прислугу, а остальные слуги после его исчезновения отпустили себя сами, и Лили жила одна. Друзья отца бежали кто за границу, кто в деревню, и те, и другие предлагали взять ее с собой, спасти от голода, холода и наводнивших улицы уголовников, но Лили нельзя было спастись с чужими людьми – она ждала отца.

Отец исчез полгода назад, в августе, и все это время не было от него никаких известий. Почта не приходила, хотя Лили каждый день смотрела в почтовый ящик, еще она смотрела на карте, куда Рара мог уехать из Петрограда, может быть, он в Крыму, а может быть, за границей – в Париже, в Берлине, в Праге? Лили было пятнадцать лет – слишком мало, чтобы пять бесконечных месяцев жить одной, слишком мало, чтобы каждый день рассматривать карту и гадать, где Рара – в Крыму, в Париже, в Берлине, в Праге?.. Слишком мало, чтобы быть совсем одной навсегда.

Бонна Лили, Амалия Генриховна, говорила, что Лили zu nachdenklich – слишком думная девочка. Нужно по каждому поводу иметь только одну мысль, говорила бонна, а ты, Лили, du machst dich zu viele Gedanken – слишком много думаешь. Действительно, у Лили по каждому поводу была не одна мысль, а сразу несколько. Она уже почти сутки ничего не ела, и теперь от голода у нее ужасно кружилась голова, но зато прибавлялось мыслей... И сейчас Лили не только горевала, не только ощущала себя сироткой, никому не нужной, как грязный клочок газеты «Петроградская правда» на мостовой. Она шла и говорила себе: «А что, если подумать обо всем этом по-другому?» Подумала по-другому и тут же залюбовалась своей исключительностью: вот она идет, такая юная, такая романтическая, такая *одна*.

Одна... Если она сейчас умрет, пропадет, то их род пре-

кратит свое существование, – они с отцом привыкли гордиться своими предками, они *представители рода*, она и ее отец, князь Алексей... И вдруг – ужас, ужас! Ужас был в том, что Лили на секунду забыла отчество Рара, как будто она какая-то безродная самозванка! Но прислуга называла отца ваше сиятельство, а близкие – близких было всего-то брат отца с женой – называли его Леля.

На самом деле Лили знала о семье немного, только то, что запомнила с детства, когда ее это не слишком интересовало, – знала, что род князей Горчаковых происходит от Рюрика. Родоначальник, князь Роман Иванович, пятнадцатое колено от Рюрика... или, может быть, шестнадцатое? Он был праправнуком святого князя Михаила Черниговского... или нет? Герб рода находится в седьмой, кажется, части «Общего гербовника дворянских родов Российской империи», а род князей Горчаковых записан в пятую часть родословных книг Московской губернии. Как же их звали, сыновей Романа Ивановича? Нет, не вспомнить... И тех, кто был поближе к ней, Лили не помнила, все смешалось – генерал-поручик, генерал от инфантерии, генерал от артиллерии, генерал-адъютант, генерал-майор... их с отцом ветвь титулованная, но не главная, побочная, из них почти и не осталось никого... нет, не помнит она, ничего не помнит!.. Но отец серьезно занимался историей их рода, и она обязана сохранить в памяти, обязана... Лили шла по Невскому проспекту со стороны Садовой и мысленно рисовала генеалогическое древо семьи.

«Алексей, мой прадед, – бормотала она, – у него было трое сыновей – Иван, Алексей и Александр. Иван умер неженатым, дети Александра – Владимир и Варвара, дети Алексея – фу ты, это же я, Лили...»

Если бродить по городу, полному гениев русской культуры, то обязательно столкнешься с каким-нибудь гением лицом к лицу, нос к носу или нос к животу... Особенно если ты – ангел, прекрасная незнакомка, чудное видение. И наоборот, всякий Гений встретит свое Прекрасное Видение, кто в трамвае, кто в аптеке... и это будет Встреча, предназначенная судьбой.

Встреча, предназначенная судьбой, никогда не случается сразу, судьбе непременно требуется несколько подходов: сначала случайно разминулись, потом специально мимо прошли, потом встретились, но и это еще не окончательно...

Лили шла по Невскому проспекту со стороны Садовой, а навстречу ей от Николаевского вокзала шел Георгий Никольский. Он только что сошел с поезда – приехал из Пскова и увидел Петроград впервые. Конечно, Никольский не ожидал найти Невский проспект таким нарядным, как представлял себе по картинкам – блестящие мундиры, и кружева, и витрины, и экипажи. Конечно, он понимал, что Петроград – израненный войной и разрухой город, но... НЕ НАСТОЛЬКО же израненный... в общем, он все-таки немного ожидал увидеть блестящие мундиры, и кружева, и витрины, и экипа-

жи... Ему было двадцать лет, и все здесь было ему возбужденно и восторженно, но он старался скрывать свои эмоции – все же восторг и возбуждение не к лицу взрослому человеку.

Город был немногочислен, почти пуст. По Невскому перемещались только пешком, и люди шли, где хотели – по тротуару, по проезжей части, изредка расступались, пропуская несчастные автомобили, но Никольский дисциплинированно шел по тротуару и внимательно рассматривал всех прохожих и так же внимательно рассмотрел бредущую ему навстречу девочку.

Девочка странно выделялась из толпы своей нарядностью, она как будто была не совсем настоящая, а из книжки с картинками – тоненькая, в меховом пальтишке, в меховой шапочке, сверху повязанной платком, руки спрятаны в муфту. Трогательная, как зайчик... Пальтишко было ей коротко, рукава до локтей, и с обувью у девочки было совсем плохо – посреди зимы на ней были полотняные туфли с оборками. Георгий подумал, что одежду можно было достать из сундука и кое-как натянуть на себя маленькое, а ножка у девочки выросла, поэтому девочка в чужих летних туфлях. Оборка с левой туфельки оборвалась и волочилась по тротуару.

Никольский недавно читал в «Красной газете»: «Оставим буржуев в одних комнатных туфлях, а лучшую обувь и одежду отправим на фронт...» – зимой восемнадцатого года в Петрограде производили изъятие у нетрудовых элементов теплой одежды для нужд фронта.

«Наверное, фронту не понадобились муфточка, шапочка и пальтишко», – мысленно фыркнул Никольский. Никольский был не то чтобы нелоялен к власти, а просто смешлив, и в голову ему все время приходили забавные картинки – например, красноармеец в муфточке. «Диккенсовская сиротка, – подумал он. – Сиротка, некому позаботиться о ней, велеть ей одеваться так, чтобы затеряться в толпе, а не выглядеть такой буржуазной, такой барышней... Тоненькие ножки, тоненькие ручки, это бедное буржуйское дитя вырастет в прелестную девушку», – чужими снисходительными словами подумал Никольский, как взрослый опытный мужчина.

Лили шла ему навстречу и размышляла: Рара умер, значит, теперь ему *там* не больно, не одиноко, не плохо... А ей ЗДЕСЬ одиноко, страшно, плохо... какая она плохая, эгоистичная, потому горюет *о себе*, о своем сиротстве, а надо горевать о Рара... «Господи, сделай так, чтобы Рара был *там*...» – взмолилась она. Но ведь она не знает, есть ли это ТАМ, а вдруг никакого *там* нет и Рара просто лежит в земле... И жалость ее к отцу стала такой огромной, что Лили согнулась еще ниже, словно стараясь хоть как-то снести свое горе, не обронить, не расплескать.

На Аничковом мосту, у первого коня, Лили споткнулась и, пытаясь удержаться на ногах, поскользился вперед и уткнулась в Никольского, как ребенок с разбега утыкается в от-

ца. Никольский невольно обхватил упавшую ему на грудь девочку и, прежде чем смущенно прошептать «простите», долю секунды подержал ее в объятиях, – так получилось, потому что она на него упала. Лили повезло, что Никольский попался на ее пути, иначе она бы упала и разбила коленку и порвала чулок, а чулки у нее и без того были... в общем, бог с ней, с коленкой, но чулок было бы не то чтобы жалко, а просто она не умела штопать.

– Простите, – извинился Никольский.

Девочка тоже прошептала «простите» и подняла на него такое невыносимо прекрасное лицо, нежное, полное такой беззащитной муки, что он судорожно вдохнул воздух и застыл на мгновение с глуповато раскрытым ртом, не взрослым и важным, а просто обалдевшим от ее красоты мальчишкой.

Розово-смуглая, с пушком на щеках, с горестно изогнутыми пухлыми губками, она напонила ему куклу, которую он когда-то видел в витрине игрушечной лавки. Только у той куклы была идеально гладкая прическа и голубые глазки, а у этой девочки из-под платка выбивались занесенные снегом темные кудри и глаза были ярко-зеленые, огромные, как блюдца, – как у собаки из сказки Андерсена, и взгляд ее был изумленно-печальным, словно не верящим, что вся эта огромная печаль – *ей*. Глаза у девочки были полны слез, и он спросил:

– Вам больно?..

– Больно? – повторила Лили, как будто он говорил на иностранном языке.

Но тут кто-то отодвинул его от девочки.

– Откуда вы, деточка? Сбежали из фарфорового магазина? – спросил густой мужской голос, очевидно намекая на ее потусторонность, воздушность, тонкость, хрупкость. Эти слова, а также восхищенное хмыканье, черная борода и высокий рост принадлежали совершенно неожиданному в сером сумраке Петрограда человеку, человеку совсем на вид не петроградскому, а словно сошедшему с полотен Рубенса. Он был весь какой-то непомерный, крупный, большой и странно одетый – бархатный плащ в ниспадающих складках, бархатный берет и – совсем уж странно – бант на шее... Человек этот был, на взгляд Никольского, очень пожилой – лет сорока или пятидесяти, точнее он еще не научился определять.

Лили еще раз пробормотала «простите», посмотрела на Никольского этим своим печальным, обиженным взглядом, словно она была принцесса и ждала, чтобы ее спасли от дракона, и Никольский уже было ринулся ее спасать, но она резко и гордо, как птенец, вскинула голову и, мелко перебирая ножками, побрела дальше по Аничковому мосту.

А пожилой, лет сорока или пятидесяти, «рубенсовский тип» пошел, между прочим, рядом с ней, и даже взял ее за руку, и нагло что-то нашептывал ей на ухо. «Мерзавец, соблазнитель маленьких сироток, он же ей в отцы годит-

ся», – возмущенно подумал Никольский. Бойкое двадцатилетнее воображение подробно нарисовало ему, что именно произойдет между печальной девочкой и бархатным господином. Если, конечно, он, Никольский, ее не спасет!..

...Но она была чужая ему девочка в чужом городе, а он был провинциальный молодой человек, не готовый к резким публичным действиям... честно говоря, он просто постеснялся бежать, вырывать девочку из развратных рук... а вдруг этот пышный чернобородый господин не старый развратник, а... ну, что-то другое?..

Никольский смотрел им вслед – две удаляющиеся фигуры, жалкенькая и массивная, приобрели на секунду в его воображении другие очертания, как будто обе они не отсюда, не из петроградской оборванной толпы, а из сказки Гофмана... но вот они уже растворились в толпе моряков и красноармейцев – моряков в толпе было много, а красноармейцев почему-то поменьше.

Никольский подумал о пленительной литературности этой встречи – Петербург, вьюга, несчастная очаровательная девочка, уходящая в неизвестность с вальяжным господином, – вытащил записную книжку и карандаш, записал: «Девочка-персик, пошлое сравнение, но она была вся персик, и мужчинам хотелось ее съесть. Ее уводит бархатный господин, потом оказывается, что он не человек, а образ, сбежал с картины Эрмитажа... посмотреть, какой». Свои рассказы Никольский почти всегда начинал с реального факта, собы-

тия с точными деталями и речевыми характеристиками персонажей, и вдруг возникал неожиданный штрих, мелочь, которая переворачивала всю историю вверх ногами и образовывала новую реальность, непременно с чем-то фантастическим. Особые отношения складывались у него не только с реальностью, но и со словами: слова были как слова, как у всех, но всегда обнаруживалось какое-то новое сочетание, свое.

Никольский взволнованно подумал, что никогда в жизни не забудет эту случайную девочку, это прекрасное горестное личико, и спустя пару минут он больше уже не думал о ней, шагал по Невскому, радуясь тому, что он здесь, в Петрограде, рассматривал дома и даже, кажется, весело посвистывал.

Невский проспект у Александринского театра за три года войны и разрухи превратился в лужайку... Человек, который давно не был в Петрограде, подумал бы в ужасе – прежде здесь плескалась нарядная толпа, человек, который жил в Петрограде все это время, не подумал бы ничего, а Никольский подумал – лужайка. Бурлившая в нем радость не стала бы меньше, даже если бы весь Петербург превратился в лужайку, или поле, или лес, – главное, чтобы остался университет.

Никольский приехал поступать в университет, на историко-филологический факультет, и он был талантлив, даже очень талантлив. И все вокруг разглядывал классическим взглядом провинциала, робкого, но и уверенного в своих та-

лантах, – взглядом «я тебя покорю, Петроград!...».

Авантюрный роман

Февраль 1919 года

*Били меня со всех сторон:
для гибеллинов был я гвельфом,
для гвельфов – гибеллином.*

Монтень

Огромный, мрачный чернобородый красавец, мужчина с торчащим животом, с упрямым, выдвинутым вперед подбородком, со зло поблескивающими глазами... черный человек из детских страшных историй, которые рассказываются на ночь приглушенным страшным голосом – «мрачное лицо, мрачные глаза, мрачный голос... ой...»... черный человек взял Лили за руку. Черный человек взял Лили за руку, черный человек повел ее по Невскому, черный человек вошел в дом на углу Невского и Надеждинской, черный человек снял бархатный плащ и ка-ак... Под бархатным плащом оказалась бархатная же тужурка, из-под нее виднелся пышный белый бант.

Лили никогда специально не говорили: «Дорогая княжна Лили, никогда не давайте руку чужому взрослому дяде, а уж тем более такому мрачному, большому. Это неприлично и опасно...» Во-первых, она никогда не бывала одна, а во-вторых, это подразумевалось само собой. Нельзя, ни за что

нельзя... но все-таки... если Рара нет, нигде нет, и она совсем одна навсегда, то... может быть, все-таки можно?.. Дать руку и пойти, куда поведут?..

В тот день Лили могла стать легкой добычей любого взрослого, желающего ей зла, в тот день у нее были глаза жертвы и вся повадка жертвы, она просто просилась в лапы насильника, заманивающего в беду маленьких беззащитных девочек, просилась пропасть в страшном опустевшем городе. Она, конечно, воображала себя очень умной, и образованной, и хитрой, но никакое воспитание и никакое умничанье, никакая латынь и лисичкина хитрость не защитили бы ее от взрослого, желающего ей зла.

«Рубенсовский тип», бархатный человек, Мирон Давидович Левинсон не желал ей зла, он был не насильник, никогда не приставал к маленьким девочкам и вообще никогда не знакомился на улице. Можно сказать, что Лили хранила судьба, а можно – что в ситуациях, когда нужно было выбирать, она умела сделать выбор.

Мирон Давидович Левинсон был фотографом, а Лили очень красивой девочкой. Но может ли быть, что он заинтересовался Лили лишь из эстетических соображений? Левинсон не делал портреты знаменитостей и сам не был знаменитостью, у него вообще не было никаких амбиций по художественной части. Он был просто мастер, ремесленник, снимал за деньги всех, кому нужно было иметь любую, самую заурядную фотографию, из тех, на которых в каменной по-

зе запечатлены муж и жена – муж в фуражке, сидит, а жена в платочке, стоит, положив ему руку на плечо. И то, что он взял эту чужую красивую девочку за руку на Аничковом мосту, для него самого было настолько необычным, из ряда вон, что дома он сам себе удивился: а *зачем*, собственно говоря, он привел ее в свое фотографическое ателье на углу Невского и Надеждинской?.. Но раз уж привел...

Мирон Давидович посадил Лили на стул перед огромным аппаратом на треноге.

– Как вас зовут, деточка? Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка!.. – добрым голосом сказал Левинсон, наводя фокус. Голос у него оказался бархатным – в этом человеке все было бархатным, и душа, и одежда, и голос, и даже, может быть, мысли...

Перед тем как он спустил затвор, Лили успела поправить волосы, куснуть губы, чтобы казались ярче, скосить глаза в угол и скривить губы в попытке улыбнуться. Попытка получилась так себе, но Мирон Давидович опять щелкнул затвором, и этот портрет Лили, с укоризненными глазами и горестным ртом, долго потом висел в витрине фотографического ателье на углу Невского и Надеждинской.

– Деточка, почему у нас такие грустные глазки? – ласково спросил Левинсон. – Где ваши мама с папой?

– Мама умерла, – сказала Лили. И монументальный Левинсон неожиданно тонким голосом сказал «ох!» и робко спросил:

– Ну... э-э... а ваш отец?..

* * *

Отец Лили, князь Алексей Алексеевич Горчаков, – в роду старшим сыновьям было принято давать имя Алексей – был человеком чрезвычайно мягким, мирным, умеренным во всем. Родившись с княжеским титулом, он им не гордился, как не гордятся цветом своих глаз или формой ушей, гордился лишь тем, что дед его был связан близкой дружбой с декабристами: «Я внук друга декабристов, и, сколько себя помню, это всегда было самым главным в моей жизни».

Алексей Алексеевич занимался историей рода и коллекционировал ткани – такое мягкое, женственное увлечение. Его коллекция тканей была уникальна, две комнаты в огромной, на этаж, квартире занимали рулоны с фабричными печатями знаменитых мануфактур восемнадцатого века, среди них были шелка знаменитой лионской мастерской Филиппа де Лассалья и – жемчужина коллекции – персидская ткань тринадцатого века, сцена охоты. В сцене охоты были изображены люди, что категорически запрещалось исламским искусством, и от этого ткань была немислимо редкой – в 1910 году ему предлагали за персидскую ткань сто тысяч золотом.

Взгляды его были – умеренный либерализм плюс христианские убеждения плюс учение Льва Толстого, самопожертвование, любовь. Но все это спокойно, без фанатизма. Он

был убежден, что все, чему нужно произойти, произойдет само собой, и эта уверенность, что все образуется, никогда его не подводила, все действительно образовывалось, во всяком случае, в его жизни, — к примеру, деньги и имение достались ему от дальнего родственника как раз к окончанию университета.

Единственным случаем, когда страсть озарила его жизнь, была женитьба на очень молодой и очень красивой девушке... Ее семья считала себя в родстве с древнейшим дворянским родом Хитрово, но об этом было известно только с их слов. Никаких документальных подтверждений не имелось, так что можно остановиться на том, что красавица происходила из небогатого дворянского рода.

Лили знала свою мать только по портретам. Лили не целовала портрет на ночь, не поверяла ему своих секретов и говорила о своем полусиротстве без печали — в доме не было культа умершей матери. Она знала, что в семье матери были страстные игроки, это все, что ей удалось подслушать. Да и по недомолвкам прислуги поняла, что ее юная мать отличалась слишком уж пылким темпераментом и ее отец любил юную красавицу намного более нервно, чем ему подходило любить. Иначе говоря, она его мучила.

Мать Лили умерла вскоре после родов, словно для того, чтобы не нарушать слишком беспокойной любовью спокойной созерцательности князя Алексея Алексеевича, и после этого он уже ни к чему и ни к кому не относился со стра-

стью, кроме своей дочери. Родственников у них не было, за исключением младшего брата отца, но он жил в Париже; его детей, Владимира и Варвару, Лили видела всего несколько раз совсем маленькими, еще в Ницце жила очень нравная и богатая тетушка, – вот и вся семья, и та за границей. Семья считала ее отца чудаком, винила его в неудачном браке и тесного общения с ними не поддерживала.

Лили родилась под знаком Скорпиона – в гороскопе было написано, что женщина, родившаяся под этим знаком, имеет особые таланты в искусстве и в умении овладевать сердцами. Но ни в каких искусствах Лили не блистала. В танцкласс ее возили с пяти лет. Как и все девочки в танцклассе, к семи годам она танцевала все положенные танцы – вальс, венгерку, падеспань, краковяк, польку, мазурку, падекатр, но из более сложного ей удалось освоить только падеграс и энтраж, а чардаш, миньон и фанданго она так и не разучила. Способности ее к музыке также были средними, – в лучшем случае она могла бы стать неплохой салонной пианисткой, если бы не была такой ленивой и легкомысленной. Лили испытывала тягу к легкой музыке – романсам Чайковского, Рахманинова, Глиэра. Играть романсы ей строго запрещалось, чтобы не испортить постановку руки, но Лили пробиралась тайком в гостиную и воровала запрещенные ноты, оставшиеся от матери. Однажды учитель музыки застал ее упоенно распевующей романс, который она услышала от горничной:

Ты уезжаешь, друг мой милый,
И не воротишься назад,
Тебя люблю я с той же силой
И повторять могу сто крат...

– Эх, да пускай свет осуждает, – разудало вопила Лили, с размаха ударяя по клавишам, – эх, да пускай клянет молва...

После этого случая все запрещенные ноты исчезли.

Лили редко что-то запрещали по-настоящему, почти никогда не грозили и ни разу в жизни не наказали. Маленькая хорошенькая сиротка вертела всеми, как хотела – няньками, гувернантками, прислугой. Она ревела, дулась и ласкалась попеременно, но всегда добивалась своего – пирога с вареньем до обеда или уложить волосы как ей вздумается.

Но Лили недолго пришлось реветь, дуться и ласкаться, чтобы как можно быстрее получать то, что ей в этот момент казалось необходимо, – она очень рано обнаружила в себе одно секретное свойство и вскоре начала этим секретным свойством пользоваться осознанно. Лили пристально смотрела на собеседника ласковым взглядом, ласковым, а не настойчивым, и яростно твердила про себя: «Я хочу, хочу, хочу!» и тут же нежно добавляла: «Пожалуйста...» и опять яростно: «Я хочу, хочу, хочу!»... и опять нежно: «Пожалуйста...» Она умела сосредоточить всю силу своего желания в глазах, сжаться в пружину, она словно вся превращалась в свое желание, но не требовала, а просила, словно придерживала свое рвущееся в мир «хочу» нежной лапкой... Полу-

чалось отлично – все пироги с вареньем были ее, и няньки, гувернантки, прислуга баловали ее не по обязанности. Лили действительно овладела всеми сердцами, которые имелись в ее распоряжении, и в отсутствие матери у нее было такое счастливое детство, какое только можно вообразить.

Считалось, что она унаследовала от матери взрывной темперамент, было ли это так, кто знает, но одно было очевидно: Лили умела пользоваться своим темпераментом и гневалась только, когда сама этого хотела, – совсем как великий полководец, который был известен тем, что в гневе топтал свою треуголку, но в эти дни всегда по утрам велел подавать себе СТАРУЮ треуголку...

Но какой бы ни был у нее темперамент, большей частью он проявлялся в детской, в отдалении от отца. Отец считал, что у него ребенок-ангел.

Одно из первых ее воспоминаний – она строго говорит отцу: «Ты должен только на меня смотреть, только со мной разговаривать», а отец, улыбаясь, послушно кивает. И потом, позже, всегда отношения ее с отцом были как отношения с женщиной, Лили обожала, и очаровывала, и тщательно следила, чтобы «он любил ее больше, чем она его».

Лили с отцом жили одни и душа в душу. Вернее, Лили жила душа в душу сама с собой.

Отец восхищался красотой и послушанием хитрюги Лили, а Лили восхищалась отцом. Особенно он нравился ей в расшитом золотом мундире, с подвешенным на боку зо-

лотым ключом, треуголке с плюмажем и белых перчатках – отец имел придворное звание камергера. В то время звание камергера уже почти утратило свое значение, князь не выполнял никаких обязанностей при дворе, и Лили видела отца во всем этом облачении лишь один раз в год и всякий раз приходила в восторг от золоченой красоты, от величавости князя Горчакова, а заодно и собственной значительности. Сам же отец всего этого – золотого ключа, перчаток, немного конфузился.

Февральскую революцию князь Горчаков встретил с характерным для него чувством, что все происходит так, как должно происходить. Он честно откликнулся на призыв Государя отозвать капитал из-за границы в Россию, но сделал это из чувства долга, уже не веря в мудрость царя... как ни старайся быть верным самодержавию, оно само похоронило себя прежде своего падения. Алексей Алексеевич возмущался тем, что по улицам носили портрет Государя вверх ногами, но ему стало даже легче, как будто скончался безнадежно больной, глядя на которого нужно кривить душой и без веры говорить, что он непременно поправится, хотя он уже обречен.

Однажды Лили с отцом видели на Фурштатской, рядом с их домом, людей, бегущих с фунтиком хлеба из лавки. «Свобода – неподходящая вещь для голодных, все мы стоим на краю пропасти», – сказал Алексей Алексеевич, и Ли-

ли немного испугалась, потому что отец не был склонен к преувеличениям, — если все стоят на краю пропасти, то не упадет ли ОНА в эту пропасть?

Но о том, чтобы покинуть Россию, речи не было, Алексей Алексеевич говорил: «Не ты держишь корень, но корень держит тебя».

После Октябрьского переворота Алексей Алексеевич сильно переменился, как будто в нем тоже произошел переворот — стал оживленным, деятельным. Теперь он казался Лили более счастливым, чем раньше, когда сидел у себя в кабинете и занимался историей рода.

Все, что Лили знала о дальнейших событиях, было плодом ее подслушиваний и подглядываний. Отец все еще относился к ней как к несмышленной малышке, но все, что творилось вокруг, было весьма значительным прибавлением к ее свободе, в воздухе носилось возбуждение, и Лили тоже была возбуждена и считала себя уже совсем взрослой, как будто все происходящее дало ей право больше не быть ребенком.

Теперь отец вечерами часто уходил из дома, так что Лили, пользуясь случаем, решила развлечься и потребовала, чтобы бонна сводила ее в синематограф и в театры.

Они с Амалией Генриховной дважды тайком посетили синематограф. Первый раз они посмотрели фильм с Верой Холодной, актриса под бреньканье фортепьяно в яме под экраном целовалась со своим возлюбленным, и Амалия рукой прикрыла Лили глаза, чтобы она не увидела поцелуя. А вес-

ной, в апреле, Лили потащила ее на «сенсационную драму» «Темные силы – Григорий Распутин», – в фильме показывали гадости про «старца» и императорскую чету, и затем убийство его во дворце князя Юсупова. Фильм был ужасен.

Несколько раз они с Амалией ходили в театр. В театрах шли короткие фарсы в одно действие, и они успевали прибежать домой до возвращения отца.

В театрах Лили получила начатки сексуального образования. В одной пьесе обсуждалась сексуальная потенция Распутина, шутили, что у него «огромный талант», и каким-то образом она поняла, что имеется в виду вовсе не талант, а кое-что крайне неприличное, – в этих сексуальных намеках для Лили было что-то очень притягательное. Тут уж Амалия не могла закрыть ей глаза рукой, поскольку ни слова не понимала по-русски, и Лили что-то переводила ей на ухо, что-то врала. А однажды они попали на пьесу «Большевик и буржуй», где в первом же действии на сцене начало твориться что-то странное: две женщины разделись и принялись ласкать друг друга, целоваться, стонать и впиваться друг в друга поцелуями – на сцене со всей возможной откровенностью показывали лесбийскую любовь. Амалия громко заверещала и потащила Лили из зала... Это была последняя попытка Лили развлечься, с тех пор Амалия наотрез отказывалась от посещений увеселительных заведений, да она и сама как-то притихла.

Но не такова была Лили, чтобы не поинтересоваться, ку-

да с таинственным и озабоченным видом уходит отец. Лили была совершенно уверена, что у него роман.

Источников информации у нее хватало, гости громко переговаривались в прихожей, прислуга сплетничала о хозяевах, и Лили быстро поняла, что никакого романа у отца нет, а уходит он на заседания в партийный клуб, – у него возникли какие-то отношения с партией кадетов. Лили проштудировала несколько выпусков газеты “Наш век” и поняла, кто такие кадеты: кадеты из всех сил старались спасти монархию, приостановить революцию.

Уже было холодно, голодно, но совсем не страшно. Не страшно, потому что она была при отце ребенком, за которого отвечают, о котором думают, беспокоятся, чтобы она не страдала от холода и голода. Лили ходила по дому в отцовской шубе, как в халате, иногда отец сажал ее на колени и обнимал, грел в шубе. Это все еще был дом, их дом, пусть не прежний, но сохранивший почти все приметы прошлого: звонил телефон, звучала музыка, трижды в день накрывался стол. Лили переодевалась к обеду, сидела напротив отца за столом и хихикала, все это ее ужасно смешило – великолепие сервировки, сверкающие на белоснежной скатерти серебро и хрусталь и – перловая каша, черный сырой хлеб, тоненькие ломтики, крошечные кусочки, ошметки чего-то невнятного, неспособного утолить голод. Но иногда бывал какой-нибудь сюрприз – кусочек мяса или яйцо, а однажды отец принес ей три конфеты.

В мае восемнадцатого года большевики запретили партию кадетов, и партия перешла на нелегальное положение. Организация называлась «Союз возрождения России», проводила свои заседания втайне, и несколько раз эти тайные встречи происходили в квартире на Фурштатской, – Лили очень этому радовалась, ей казалось, что рядом с ней идет увлекательная игра в шпионов. Но она была не из тех девочек, чтобы можно было играть в шпионов без нее, она сама хотела быть главным шпионом, поэтому Лили присутствовала на всех тайных собраниях, которые проходили у них дома, – в виде ушей, плотно прижатых к дверям. Эти уши слышали слова «восстание», «мятеж» и замирали в восторге – как героически, как романтично... Жаль только, что ее отец не был главой организации, не переправлял секретные разведывательные сведения, не собирался выступать с оружием в руках, он всего лишь предоставлял квартиру для собраний – из подслушиваний и подглядываний это было совершенно ясно. Лили даже немного стеснялась того, что ее отец, Алексей Алексеевич, князь Горчаков, был таким мирным, сентиментальным, застенчивым человеком, ни разу в жизни ни на кого не повысил голос, всегда носил при себе ее фотографию... был человеком, созданным исключительно для частной жизни, но не для восстаний и мятежей. В ее глазах его оправдывало то, что он был уже старый – к моменту описываемых событий ему было шестьдесят два года.

...Когда кто-то близкий уходит от нас внезапно, мы начи-

наем перебирать в памяти последние проведенные с ним минуты, и они кажутся нам наполненными глубоким смыслом, которого мы не увидели бы, если бы вслед за этим ничего не случилось.

20 августа 1918 года, перед тем как выйти из дома, Алексей Алексеевич на секунду притянул Лили к себе и сказал: «Dieu te garde»¹ – и погладил по голове. Он был очень сдержанным человеком, и это случалось крайне редко, – не впервые ли?.. Отец Лили, Алексей Алексеевич Горчаков, вышел из дома и не вернулся. Так вот, – почему он тогда погладил ее по голове?.. Он же не мог *знать*?..

* * *

– Как вас зовут, деточка? – из-за аппарата ласково спросил Левинсон. – Деточка, опустите головку и посмотрите в угол... – сказал он и вдруг тихо позвал: – Фаина!

– Что ты кричишь на весь дом? – Фаина появилась в ту же секунду, как будто подслушивала за дверью.

Какое же это было ошеломительно странное семейство!

Мирон Давидович Левинсон был огромный красавец, Фаина в своем темно-вишневом бархатном платье, с продернутым в вырезе белым кружевом, с пышными кружевными рукавами, была красавица, и красивого у нее было в избытке:

¹ Храни тебя Бог (*фр.*).

брови, глаза, губы – все большое, яркое. Сказать о ней «полная» или даже «толстая» было бы недостаточно, Фаина была такая толстая, что у нее уже не просматривались отдельные признаки полноты вроде второго подбородка или лишних складок и складочек, она вся была бархатно-кружевная гора, увенчанная брошкой. Лили зажмурилась и быстро открыла глаза – проверила, не мираж ли это цветное бархатное семейство, будто сошедшее в серый Петроград с картин голландских мастеров, не аристократы, конечно, а бюргеры – пышные, бархатные... Лили хотела бы бархатное платье, но лучше не вишневое, а зеленое, бывает бархат глубокого изумрудного цвета. К такому платью замечательно пошли бы высокие ботинки со шнуровкой... а шляпка, какая понадобилась бы шляпка?..

...Отец не одобрял интереса к нарядам. Но Лили думала о нарядах не переставая, особенно о ботинках и шляпках. Как сорока-воровка, она таскала у горничных ленты, кружева, дорогие украшения, прятала их в тайничке у себя в комнате. А по ночам наряжалась и рассматривала себя в зеркале, – как же она прекрасна в белой батистовой рубашке, вся обвешанная чужими бусами... Возможно, отец каким-то образом об этом узнал, но с десяти лет он дарил Лили подарки, больше подходящие для молодых дам. Почти каждую неделю она находила в своей комнате коробки, завернутые в красивую бумагу, и в них расшитые жемчугом сумочки, зонтики с ручками из слоновой кости, черепаховые гребни, ин-

крустированные полудрагоценными камнями... и ей больше не нужно было таскать украшения у горничных...

— Девочка? Красивенькая. Чья? Откуда? — низко, с южным тягучим говором, упирая на гласные, сказала Фаина. — А где Ася? В этой семье все постоянно куда-то пропадают. А-а, вот она, слава богу...

— Ты хрюшка или мышка? — нежно пробурчал Мирон Давидович, и Лили оглянулась в поисках маленького ребенка, к которому он мог так обратиться, и увидела, что «хрюшка или мышка» была крупная полноватая девушка лет двадцати. Лили уже очень сильно плыла от голода и не удивилась бы, даже если «хрюшка или мышка» въехала бы в комнату в карете, не удивилась бы ни бархату, ни кружевам, ни турецкому тюбану, ни флорентийскому берету с пышным страусовым пером, ни поварскому колпаку, ни буденовке с красной звездой, — бог знает, в чем ходят дома эти опереточные люди. Но Ася одета была обычно, во что-то простое, темное, заколотое у ворота булавкой.

На самом деле Лили с Асей были почти ровесницы: Лили пятнадцать, Асе семнадцать, но Лили подумала, что Ася взрослая, никак не моложе двадцати.

Ася была фруктовая девушка: глаза цвета спелой сливы, губы как вишни, щеки как малина. Красивая или некрасивая? Кому-то красавица, кому-то нет, на вкус. Могла показаться слишком крупной, неловкой, выглядела почти матро-

ной – еще чуть-чуть, и уже готовая любовница, мать. И этот ее туманный взгляд, как будто направленный в себя, – можно сказать, так себе девушка, странная. Но о ней всегда говорили восхищенно – ка-акая красавица! Все в Асе было очень полноценное, все на отлично: роскошные волосы, яркие губы, гладкая смуглая кожа, – это была очень теплая, очень физиологическая красота. И Лили с ее неяркими нежными красками и тонкими чертами лица рядом с Асей была вовсе не однозначно лучше, – слишком уж бесплотная, бесцветная, как недодержанная фотография, слишком «одни глаза». Кстати, и у Аси глаза были очень хороши – глубокие, черные, с восхищением смотревшие на отца, мать, Лили, на все вокруг.

– Папочка, мамочка, а где Дина? – словно пересчитывая свои богатства, сказала Ася и восторженно оглядела Лили как прекрасную картину: – О-о, вы... вы похожи на итальянку! Раннее Возрождение... или позднее Возрождение, да?..

– Да-да, конечно, – энергично подтвердила Фаина. – И ты, Ася, ты у нас красавица, богиня...

Лили посмотрела на Асю с завистью: лучше бы она была не раннее Возрождение и не позднее Возрождение, лучше бы она была некрасивой, но зато у нее была бы мама – настоящая мама, толстая, безопасная, уютная, в смешных кружевах, мама, которая считает ее богиней.

– Что же вы молчите, деточка, у вас что-то случилось? – участливо спросил Мирон Давидович.

Можно было сказать и так – да, у нее кое-что случилось.

Сегодня утром кто-то долго стучал в дверь, кто-то долго стучал, а Лили долго боялась и не открывала. По утрам она бывала в своей разгромленной квартире совсем одна, последние оставшиеся жильцы рано утром уходили на завод. К жильцам никогда не приходили гости... Этот ранний гость – к кому?

Лили сидела в прихожей на соседском сундуке и слушала, как колотят в дверь, точно замерший от ужаса поросенок, к которому ломится волк, и понимала, что *за ней пришли*. В дверь все колотили и колотили, и она, смирившись с неизбежным, наконец отодвинула засов...

За дверью стоял молодой человек, почти мальчик, в кожаной куртке и кепке. Лили смотрела на него со страхом и уважением, – кожаные куртки во время войны были формой летчиков и шоферов, а теперь стали символом мужественности, их носили люди, причастные к революции, к власти, чекисты... Молодой человек оказался невоспитанным – не поздоровался, не представился, даже не снял кепку. Он – за ней!.. Это было так страшно, за гранью обычного страха, что бояться уже было нечего.

– Я дочка нашей кухарки, – пробормотала Лили, глупо оговорившись от ужаса. Но чекист не обратил внимания на ее оговорку, ему, наверное, и в голову не могло прийти, что девчонка способна так бесстрашно врать.

Лили провела гостя по всем комнатам в поисках себя самой, благодаря Бога, что жильцов нет дома, и приговаривая «нету барышни, нету»... и уже готовилась распрощаться с гостем в прихожей, как вдруг чекист спросил:

– Что это у вас?

На вороте рубашки, выглядывающей из выреза ставшего немного тесным платья, виднелся вензель, княжеская корона.

– Ну, подумаешь, стянула рубашечку у буржуев, – с простонародным говором ответила Лили, так говорили девочки у них в имении. – А что, нельзя?

– Можно и даже нужно. Но вы прекрасная актриса, – ответил чекист и принялся рыться в кармане куртки.

Лили только теперь заметила, что в облике чекиста был какой-то странный диссонанс, как будто кожаная куртка была от него отдельно. Куртка вызвала уважение и страх, а юноша умиление и жалость, он был весь какой-то перекрученный, как волнистая линия, сутуловатый, неровный...

– Это вам, – молодой человек дернул головой вперед и вбок – не то нервный тик, не то дурная привычка – и протянул Лили смятую неказистую бумажку – ордер на арест. В ордере на арест было написано:

Удостоверение личности

Рахиль Эмильевна Каплан

Дата рождения 3 августа 1903 года

Подпись, печать

– Я подумала, что вы чекист, а вы, оказывается, Рахиль Эмильевна, – смешливо сказала Лили, поняв, что юноша не собирается ее арестовывать. – Рада с вами познакомиться, Рахиль Эмильевна... а я Лили Горчакова...

– Нет, это вы Рахиль Эмильевна Каплан, – серьезно сказал молодой человек, – посмотрите внимательно.

Лили недоуменно взглядела в фотографию – фотография с печатью в правом верхнем углу придавала бумажке хоть какую-то солидность – и недовольно поморщилась. На этой сделанной незадолго до исчезновения отца фотографии она была похожа на куклу и ужасно себе не нравилась, – капризно изогнутые губы, как у куклы, вытаращенные глаза, как у куклы, длинные кудри, повязанные бантами, и выражение лица кукольное!..

– Что это, почему? – изумленно прошептала Лили, и вдруг поняла, и тут же загорелась глазами, задохнулась от радости: – Я поняла, это фальшивые документы! Вы от Рара! Рара меня ждет! Я готова, пойдемте!

Молодой человек молчал. Лили подумала, что ему запрещено разговаривать, чтобы она не запомнила его голос. И эта ужасная кепка, специально надвинутая на глаза, – для того, чтобы она не разглядела его лица, и кожаная куртка, как у представителя власти, – все это маскарад. Этот юноша, высокий, стройный, даже хрупкий, – хрустальный мальчик, выдает себя за кого-то другого, как герой приключенческого романа, как персонаж Конан-Дойля! И как приятно от

него пахнет, смесью духов, табака и кожи, а духи, кажется... «Violette pourpre»! Это же настоящее приключение, продолжение игры в шпионов! Ей нужно задавать поменьше вопросов, захватить с собой мешочек с драгоценностями и молча последовать за посланцем в темноту ночи, взяв у него эту мятую бумажку, то есть свои новые документы.

– Я не буду ни о чем вас спрашивать, – понятиливо кивнула Лили, – но можно мне задать один, всего один вопрос? Где Рара меня ждет? Мы отправляемся за границу? В Берлин? В Париж? В Прагу?

– Он сказал мне: «Вы еще очень молоды, почти мальчик...» – пробормотал юноша. Он нервничал, оглядывался, переминался с ноги на ногу, как будто пытался занять как можно меньше места в пространстве, и, наконец, присел на соседский сундук и замер в причудливой позе – ноги сплетены, слишком длинные руки сложены как для молитвы.

– Я вижу, что вы еще очень молоды, – насмешливо сказала Лили. На самом деле она немного робела и от робости вела себя развязно, хотя манера выражаться этого юноши действительно показалась ей странной, невзрослой, – ее учили всегда заканчивать фразы. – Но я вас спросила, где Рара меня ждет?

– Вы газеты читаете? – мягко, почти нежно спросил юноша. – Помните, после убийства Урицкого в «Правде» писали: «За каждую нашу голову – сотню ваших»?.. Тогда был

приказ о взятии заложников из бывших правящих классов, офицеров, интеллигенции. Меня взяли как заложника прямо на улице... красноармейцы решили, что я бывший юнкер, и арестовали. Я объяснял, что я не мог быть юнкером, я еврей, но меня все равно арестовали...

– Но при чем тут мой отец? – Лили нетерпеливо топнула ножкой, бывают же на свете такие зануды!

– Меня привели в ту же камеру, где сидел ваш отец. Он провел в тюрьме полгода, его взяли за связи с кадетами. Он пробыл в этой камере несколько месяцев, а я три с половиной дня... Я представился вашему отцу, и мы эти три с половиной дня непрерывно разговаривали. Он дал мне вашу фотографию и назвал ваш адрес, на случай, если меня отпустят. Я читал ему стихи... Я читал вашему отцу свои стихи, он сказал, я талантлив... – Юноша опять дернул головой, как воробышек, и решительно продолжал: – Через три дня после того, как я попал в тюрьму, всех нас вывели в тюремный двор. Нам заранее не сказали, что будут с нами делать. А когда вывели во двор, объявили: «За убитого большевика товарища Урицкого сейчас будет расстрелян каждый десятый». Я был *десятым*... Я был десятым по счету, а ваш отец девятым. Ваш отец сказал: «Встаньте на мое место, вы еще очень молоды, почти мальчик...»... и поменялся со мной местами. Он поменялся со мной местами... – Юноша дернул головой и торопливо, будто заговаривая Лили, продолжал: – Простите меня за этот тик... мой организм оказался трусливей ме-

ня, тик появился после тюрьмы... Когда я вернулся домой, мне купили на рынке кожаную куртку, чтобы я больше не был похож на бывшего, чтобы меня еще раз не забрали на улице...

– Я не понимаю, о чем вы говорите, зачем мне знать о вашей куртке... – высокомерно скривилась Лили. Она еще ничего не понимала, но уже ощутила ужас, как будто в ней было что-то понимающее прежде, чем поймет мозг, прежде, чем еще раз прозвучат страшные, навсегда меняющие жизнь слова... – Поменялся местами? Поменялся местами, зачем?

– Ваш отец сказал: «Вы еще очень молоды, почти мальчик...», и... и все. Вашего отца расстреляли, – прошептал он.

– Вы еще очень молоды, почти мальчик, – повторяла Лили, рассматривая юношу, – весь глаза и ресницы, нежное лицо, копна волос, разлетающихся над чистым лбом, подбородок утоплен в высоком воротнике свитера. Юноша был очень красив – не юноша, вернее, а мальчик, мужественности еще не было и в помине, красивый, нежный, как цветок, мальчик, падший ангел с глазами печальными и прекрасными, высокомерный воробышек с дергающейся головой.

– Вы встали на его место, – тускло сказала Лили. – Значит, если бы не вы, он был бы жив? Он ведь был девятый?.. Я вас спрашиваю, он был *девятый*?!

Лили не сползла на пол, не упала в обморок, не зарыдала. Она вдруг так яростно вцепилась в кожаную куртку, что

у нее побелели пальцы, и юноша держал ее на себе, словно зацепившегося коготками котенка.

...Лили хотела отпустить кожаную куртку, но не смогла, и юноша осторожно, один за другим разжал ее пальчики.

– Простите меня. Мой отец принял такое решение, и я не должна была нападать на вас, – улыбнулась Лили, не сознавая, что улыбается, и вдруг простонала тоненько: – Но как же я?

– Ваш отец несколько раз повторил: «Лучше бы ей не быть моей дочерью, если бы ей можно было не быть моей дочерью, у нее был бы шанс выжить...» Он не просил добыть для вас новые документы, если мне удастся спастись, – ему просто не могло прийти это в голову. Но фактически это была его последняя просьба! А я же человек чести! И вдруг мне невероятно повезло! Все сплелось в один клубок... дело в том, что Белла уехала за границу, оставила моего отца и меня...

История была короткая, и юноша рассказал ее четко, делая акцент на важных вещах.

Белла – юноша называл свою мать по имени – развелась с его отцом и уехала за границу со своим любовником. Юноша так и сказал «с любовником», и Лили немного смутилась. Вместе с ними уехала девочка, Рахиль Каплан, а Лили достались ее документы.

– Теперь *вы* Рахиль, понимаете? Эту девушку, Рахиль, дома называли Хилей, а моя мать называла ее Лилей! Вас *можно* звать *Лилей*!

– Господи, нет... то есть да, понимаю, – прошептала Лили, думая, что она сходит с ума. А может быть, не она сходит с ума, а этот юноша на ее глазах становится *un peu gaga*²...

Юноша объяснил еще раз, подробно, пряча смущение за деловитой манерой.

Любовник Беллы, модный петербургский врач Каплан, проживал со своей женой раздельно, его жена жила с их дочерью в Пскове. Жена недавно умерла от тифа, и Каплан забрал дочь к себе. Очевидно, у него были связи в Чека, так как и он сам, и его дочь, и даже Белла довольно быстро получили заграничные паспорта. Сейчас не существует единой формы заграничных паспортов, их в произвольной форме выписывают на гербовой бумаге, и в паспорте Беллы было написано «для выхода замуж», а в паспорте дочери «для сопровождения отца».

– Я не понимаю, не понимаю... – шептала Лили. – Неужели это может быть, что Рара нет в живых?..

– Рахиль Каплан при выезде за границу был нужен только паспорт, и я выкрал ее метрическое свидетельство и удостоверение личности для вас. Рахиль Каплан никогда не жила в Петербурге, она жила в Пскове, никогда не учились в гимназии, получила хорошее домашнее образование. Ее мать была учительница музыки, обучила ее музыке... Ведь вы играете, вы не можете не играть?.. Вот видите, как все сошлось! Главное – это правдоподобность деталей! И еще, самое, по-

² Слабоумным (*фр.*).

жалуй, важное! У этой девушки нет в Петрограде знакомых, нет ни одной гимназической подруги, никого. Рахиль Каплан просто исчезла, и в этой неразберихе вы можете стать ею, – убеждал ее юноша.

– Рахиль – красивое имя. Рахиль была у Гейне, помните? – пробормотала Лили. Какой-то частью сознания Лили ни за что не хотела, чтобы он ушел, старалась, разговаривала: пока юноша рядом, она не одна. – Она немка, эта девушка?

– О Господи, она еврейка... – вздохнул юноша. – Но не волнуйтесь на этот счет. У вас не типично славянское лицо, вы темноволосая, похожи на итальянку... *Возможно* поверить, что вы еврейка...

Он так нервничал, у него так дрожали губы, что Лили торопливо кивнула, ей было неловко признаться, что она никогда не была знакома ни с одним евреем и не знает, как они выглядят.

– Поймите, это судьба, здесь все сошлось самым чудесным образом, – продолжал юноша, – весь план провалился бы...

Весь план провалился бы, будь обе девушки, княжна Лили и Рахиль Каплан, чуть постарше. С семнадцатого года паспорта потеряли обязательный характер, и удостоверить свою личность можно было любым документом, но совсем недавно ввели закон, по которому единым документом для всех граждан с шестнадцати лет стала трудовая книжка. Добыть трудовую книжку было бы невозможно, в нее вносились все сведения, включая отметки о получении продовольственных

карточек...

– Повторите все еще раз и можете идти, – велела Лили. – Или нет, замолчите... Забирайте ваши бумаги, мне ничего не нужно, я ничего не боюсь...

Это была неправда, она очень боялась... Но стать какой-то неведомой Рахилью, стать предателем своего имени, своих предков было еще страшней.

– Как вы смеете предлагать мне это? Я дворянка, княжна Горчакова, а не дочка врача и учительницы музыки! Что бы сказал Рара?.. Что бы сказал Рара, если бы узнал, что я из трусости отказалась от своего имени...

Юноша, видимо, совсем разуверился в ее способности понимать, что ей говорят, и совсем иначе, не горячо, а устало, безжизненным голосом произнес:

– Ваш отец сказал: «Теперь большевики будут решать, кому жить, а кому умереть. Судьба Лили уже predeterminedена ее происхождением. Сначала дворян уничтожат как класс, а потом оставшихся в живых уничтожат физически». Это не я вам говорю, это сказал ваш отец.

– Меня тоже... уничтожат? – шепотом произнесла Лили. – Но этого не может быть, что меня уничтожат, мне только пятнадцать лет, и я не сделала ничего плохого!.. Ни одна власть не уничтожает людей ни за что, безвинно! Я даже не ненавижу большевиков, я их совсем не знаю, ни с одним из них не знакома. И мне не жаль моего титула, честное слово... не очень жаль, почти совсем не жаль... и я буду рабо-

тать, как все!.. Рара не мог сказать, что меня уничтожат, он же знает, что я не сделала ничего плохого!..

– Рахиль Каплан уже в Берлине – от моей матери было письмо. Вы можете быть совершенно уверены... Исчезайте, княжна Лили, – повторил юноша, как будто из последних сил втолковывая безнадежной тупице сложную задачу.

Весь день Лили бесцельно бродила по городу – ИСЧЕЗАЛА... «Я больше не княжна, княжна Лили исчезла, теперь у меня другой *trame*³, я больше не княжна...» – убеждая себя, повторяла Лили до тех пор, пока не перестала понимать смысл мысленно произносимых «княжна – не княжна»...

Но куда же ей было исчезнуть – все-таки она была *она*, княжна Лили. Темнело, нужно было возвращаться домой.

* * *

– Как вас зовут? – ласково спросила Ася.

В ателье топилась железная буржуйка, труба от нее шла через всю комнату в форточку. Неужели бывает так тепло?.. Разморенная усталостью и непривычным теплом, Лили уже открыла рот, чтобы сказать «Лили Горчакова», но спохватилась, улыбнулась прямо из положения «открытый рот» и громко, четко произнесла:

³ *Ход жизни (фр.).*

– Рахиль Каплан. Лиля. Лили Каплан.

Лили приветливо отвечала на расспросы, обращаясь к хозяйке дома, как и полагалось благовоспитанной барышне: кто она и что, и – никого нет, живет одна. Как одна?!

– Моя мама умерла, а папа... он тоже умер, – уточнила Лили, медленно, словно попробовала эти слова на вкус. Господи, как же больно, как больно, как... – Мой папа был врач, он умер от сыпного тифа.

Асины глаза налились слезами, Мирон Давидович нежно потрепал ее по щеке... Эти теплые, бархатные, так сильно любящие друг друга люди похожи на трех медведей, они-то точно выживут, а вот что касается ее, девочки-сиротки, которая случайно забрела к ним в гости, – еще неизвестно... Княжна ли она, дочь ли провинциального врача, одной ей скорей всего не выжить. И вдруг мгновенно, как озарение, пронеслась мысль: девочка-сиротка никуда не уйдет, она останется здесь, у трех медведей.

В Лили все время звучали разные голоса, словно в ней жил не один человек, и каждый вел свою партию, но при этом точно знал, что делает другой и зачем. Одна Лили, нежная, искренняя, боялась, страдала и плакала, другая – жесткая и рациональная, знала, что выглядит трогательно заплаканной. Нежная искренняя Лили не хотела лгать, притворяться, хитрить, хотела расплакаться и сказать: «Мой отец, князь Горчаков, расстрелян, и я одна на свете»; жесткая и рациональная Лили понимала, что они отшатнутся от нее в ужасе.

Если чего-нибудь хочешь, к примеру – новое платье или третье пирожное в кондитерской, можно попросить. Но если чего-нибудь очень сильно хочешь, так сильно, что от этого зависит твоя жизнь, – просить ни за что нельзя. Нужно сделать так, чтобы тебя попросили, сами попросили. Ей нужно так понравиться всем этим чудным толстым людям, маме-папе-дочке, чтобы... о Господи, чтобы что? Как умолить их, чтобы они взяли ее к себе? Как в сказке «Три медведя»... Но они же не сумасшедшие – в такое страшное время взять в дом девочку с улицы! Даже самые лучшие, добрые, жалостливые медведи на свете не могут подбирать всех замерзающих одиноких девочек в Петрограде, иначе они насобирают их полную корзину...

Но ведь можно попробовать? Постараться понравиться всем. Понравиться, но не переусердствовать. Лили управляла ситуацией, Лили управляла собой, во всяком случае ей так казалось, – и ее трогательность была в самую меру – детская для Мирона Давидовича и Фаины, не детская, но и не женственная для Аси. Лили может стать ее подругой, но не соперницей. «Бедняжка», – басом прогудел Мирон Давидович, глядя на нее тяжелым, будто намертво приклеенным взглядом, и Лили вдруг ясно ощутила его мужское обаяние. Наверное, Фаина знала о гипнотическом влиянии его взгляда, – когда он фотографировал хорошеньких одиноких женщин, она всегда оказывалась за дверью мастерской. Не то чтобы она подозревала его в постоянной готовности к изме-

нам, просто так ей казалось правильно – всегда быть рядом.

– Я вам почитаю стихи, хотите? – утешающим голосом предложила Ася и сразу же принялась читать, смешно подывая и закатывая глаза.

– Ну как, Лиленька? – гордо спросил Мирон Давидович. – Хорошие стихи?

– Я не очень хорошо разбираюсь в поэзии, но, по-моему, у вас оригинальные рифмы... – серьезно сказала Лили. Она похвалила бы все, любую глупость, любую гадость, но Асины стихи были неожиданно тонкие и с настоящим чувством.

– Папочка не понял, это не мои стихи... это Анна Ахматова, – смущенно пробормотала Ася и спохватилась: – Мы вас никуда не отпустим... давайте будем пить чай... и каша, вы будете пшеничную кашу?

Фаина метнула в сторону дочери грозный взгляд и тут же виновато улыбнулась, как будто сама себя ударила за жадность.

– Мерси, я сыта... теперь нельзя есть в гостях, вам самим не хватит, я лучше пойду домой, – застенчиво улыбнулась Лили, поднялась и пошатнулась и сползла на пол.

Она чувствовала на себе взгляды всех – испуганно взметнувшийся Асин, тяжелый немигающий взгляд Мирона Давидовича и какой-то странный Фаинин, так смотрят на теще-душного завшивевшего котенка, жалея и одновременно оценивая. Решив, что обморока уже достаточно, Лили застонала, приоткрыла глаза и слабо, беспомощно улыбнулась.

Почему же такие хитрости? Если человек был Лили и, получив другое имя, другое происхождение и даже другую национальность, стал Лилей, – это тот же самый человек или другой? Другой, совсем другой человек... но немного тот же самый... Княжна Лили была интриганка и хитрюга и, даже голодная до обморока, любое свое действие обставляла красиво.

Можно сказать, что нехорошо манипулировать людьми, их жалостью, добрыми чувствами, а можно сказать, что у нее не было выбора. Что ей было делать, только прийти домой и умереть!.. К тому же ей действительно не пришлось в голову, что она подвергает их риску, – она считала исчезновение княжны Лили своим *личным* риском, но никак не их. «Не уйду, не уйду, ни за что не уйду! – повторяла про себя Лили. – Возьмите меня, пожалуйста, возьмите!»

– Господи, да где же Дина, где все?! – суетились над Лили три медведя.

* * *

Оказалось, у них есть еще Дина.

Сестры были погодки: Асе семнадцать, Дине восемнадцать. В обеих сестрах чувствовалась напряженная жизнь. Но если все в Асе было направлено на то, что она слышала внутри себя, то в Дине все было направлено наружу – чтобы

всех вокруг себя изменить, организовать, улучшить для их же пользы.

Ася несла себя плавно, говорила, словно пела, нежно и тягуче, вся дышала, вся была девичье томление, вся на выданье, вся про любовь. Дина была не про любовь. Не потому, что некрасивая, то есть она, конечно, была некрасивая, Дина была словно укороченная в кривом зеркале Ася, приземистая, низенькая, почти квадратная и с большой грудью – в профиль как тумбочка с выдвинутым ящиком. А лицом – вылитый Мирон Давидович, но в девичьем варианте его черты выглядели грубовато, как будто Дину впопыхах вытесал из камня торопливый неподробный скульптор. Бедной Дине досталось все самое неважное, противоположное Асиному: тонкие волосы, нездоровый цвет лица, нехорошая кожа, – как говорила Фаина, Дина была «немножко чуть-чуть не то». Но вот чудо – при всей внешней несоразмерности и неуклюжести Дина была очень привлекательна – быстро сменяющимися друг друга выражениями застенчивости и милой властности, теплым взглядом, а главное, энергичной и задушевной манерой.

С родителями Дина разговаривала строгим отрывистым голосом, как будто они были дети, а она учительница. Появившись дома, Дина своим директивным баском мгновенно распорядилась ситуацией, всех расставила по местам, и вскоре все уже сидели за столом и пили чай с хлебом, а перед Лили поставили тарелку с пшенной кашей.

На комодѣ стояла кукла в пышном белом платьѣ, Лили очень хотѣлось подѣржать куклу в руках или хотя бы дотронуться, но она не хотѣла выгядѣть глупышкой и только украдкой кинула на куклу жадный взгляд.

...У Лили было двадцать четыре куклы, то есть прежде у нее было двадцать четыре куклы. У каждой куклы свое имя, у каждой своя кровать с пологом, на пологѣ вышито имя, — Лили заставляла горничную вышивать. Одна кукла, Зизи, была необыкновенная, ростом с пятилетнего ребенка. У Зизи, единственной из кукол, не было своей кровати, Зизи спала с ней. Лили укладывала куклу на середину кровати, а сама жалась к стенке и воображала, что Зизи ее дочка, а иногда, что Зизи ее мама.

Кроме кукол у Лили было... Ох, чего у нее только не было! Детская Лили была похожа на магазин игрушек. У Лили были и мальчиковыѣ игрушки, и отец приходил к ней поиграть, очевидно, он сам не доиграл в детствѣ. Заводныѣ паровозы с раскладными рельсами, машинки, крепость, войска солдатиков и целый флот — модели парусных лодок, пароходов, кораблей, броненосцев, подводных лодок. Но это для отца, а у Лили самая любимая игра была детский театр, она наклеивала на картон принцев и драконов и разыгрывала сама для себя цѣлыѣ представления. Лили позорно долго верила в фей, волшебников, в волшебных медведей, которые превращаются в принцев, во всех сказочных персонажей.

...Лили невыносимо хотѣла каши. Стеснялась, что не

удержится и набросится на пшеничную кашу неприлично жадно, и они подумают, что она будет им обузой, не возьмут ее... Лили очень старалась понравиться, подольститься, быть светской, приятной во всех отношениях. На Асю смотрела наивно, беспомощно, признавая ее доброту, понимание, на Дину взглядывала, словно просила: «Помоги мне», на Фаину – мысленно обещая: «Я буду хорошей, вы не пожалеете, возьмите меня...».

Что было самое для Лили странное – эти люди *жили*. Она сама все это время просто пыталась не замерзнуть, не умереть от голода, а они жили!.. И все в этой семье были талантливые, во всех них была страсть: в Асе страсть поэтическая, в Дине общественная, в Мироне Давидовиче страсть к жизни, к бархатным одеяниям, в Фаине – просто страсть...

Ася пропела ласково: «Ешьте, все уже ели, кроме вас». «Нужно говорить не „ешьте“, а „кушайте“, гостям неприлично говорить „ешьте“», – мысленно поправила Лили. Но это «кроме вас», уже как будто поместившее Лили в семейный круг, вдруг совершенно ее успокоило, и она деликатно съела тарелку пшенной каши, выпила чай. И тут же, разомлев от тепла и сытости, устав от собственного желания очаровать, соблазнить, прийтись ко двору, доверчиво привалилась к Асиному боку и задремала, распустила во сне губы, превратилась в нежную маленькую девочку, такую вообще-то жалкую, несмотря на все ее хитрости. Они ни о чем ее не спрашивали, – девочка плачет, как только начинает говорить

об отце, зачем же ее расстраивать? Да и не расспрашивают приبلудившегося щенка, кто он – Рекс или Дружок, просто берут к себе или выгоняют вон.

И как щенок спит, не прекращая во сне контролировать территорию, с мыслью «ни за что не уйду, хоть вывозите за хвост лапами по паркету», Лили дремала, сквозь сон слушала голоса и волновалась – очаровала ли, перехитрила ли? Не поняли ли они, что она дворянка, дочь камергера? «Буржуйка недорезанная», – подумала Лили и содрогнулась, представив, что она опять останется одна и тогда ее ДОРЕЖУТ.

Но несколько Лили их не перехитрила, не очаровала. Чем больше она старалась, тем больше напоминала приبلудившегося щенка, никого не обманувшего своей умильной мордочкой. Они ее просто пожалели – одни больше, чем другие.

– Папочка, мамочка, неужели мы ее покормили и теперь отправим на смерть?! – патетически спросила Ася. – Мамочка, помнишь, мицва? Ты говорила, мицва – доброе дело, ты сделаешь мицву, а потом тебе или нам, твоим детям, тоже кто-нибудь сделает мицву... Ты говорила, мамочка!..

Лили сонно вздохнула, теснее прижалась к теплему Асиному боку и мысленно сказала Асе: «Милая, какая же вы милая...» – и поклялась всегда любить ее больше всех на свете.

– Бессмысленно. Бессмысленно пожалеть одного ребенка. Важна не эта конкретная девочка. По городу бродят сот-

ни таких же голодных, бездомных девчонок... – раздумчиво произнес Леничка, и Лили тут же возненавидела его навеки, – она не поняла, при чем здесь сотни других девочек, ведь она же здесь, здесь!

– Надо брать, – решительным басом сказала Дина, и Лили тут же поклялась ей в вечной дружбе.

– Жалко ребенка... – сказал Мирон Давидович, ни к кому не обращаясь, в пространство, вообще... – Может быть, все же можно взять, мамочка?..

– Жалко у пчелки, – откликнулась Фаина. – Да... жалко у пчелки, папочка...

Фаина встала и перешла к своему разложенному пасьянсу, и это означало «нельзя», «с ума сошли», «кто будет ее кормить»... и тому подобное.

Она раскладывала «Бисмарка» подолгу – начинала, могла несколько дней не подходить, потом, будучи чем-то расстроенной или просто не в духе, опять возвращалась. Сейчас она была расстроена, никому не хочется, пряча глаза, прощаться с человеком: «Было очень приятно, заходите» – зная, что он не дойдет до дома, и счастье еще, если не умрет на твоём пороге... Но что же тут поделаешь, такова жизнь. Если каждый будет отвечать за *свою* семью, то это уже очень хорошо получится, а она, Фаина, не может за всех чужих отвечать... подбирать людей на улицах ни к чему хорошему не приведет.

– Мамочка, – нежно сказала Ася.

– Мамочка, – повторил Мирон Давидович.

Из последних сил Лили мысленно послала ей свое привычное «Я хочу, хочу, хочу!» и тут же нежное «Пожалуйста...», и снова яростное «Я хочу жить, хочу, хочу!»... и опять нежное «Пожалуйста...».

— Ну, не знаю... делайте что хотите...

...»Ура! — чуть было не вскричала вслух Лили, как кричала маленькой, играя с нянькой в солдатики, обрушиваясь на чужую армию, раскидывая чужих солдатиков своим, зажатым в кулачке. — Ура, ура, ура!..»

* * *

Оказалось, у них есть еще Леничка... О Господи, нет, этого не может быть!

Может быть, она в обмороке, или видит сон, или бредит, или просто умерла? Тогда она в раю, а напротив нее падший ангел... хрупкий, хотя и высокий, стройный — хрустальный мальчик, весь перекрученный, ноги сплетены, слишком длинные руки сложены как для молитвы, и дергает головой вперед и вбок, не то нервный тик, не то дурная привычка, — высокомерный воробышек... Смотрит на нее глазами печальными и прекрасными... И пахнет от него удивительно приятно — это запах духов «Violette pourpre», табака и кожи...

Боже, как стыдно, невыносимо стыдно! Что он о ней по-

думает? Что она выследила его, узнала, где он живет, и вот – появилась в его доме, желая получить какую-то выгоду за то, что ее отец спас ему жизнь?..

– Не подумайте, пожалуйста, что я пришла, чтобы... Я совсем не имела в виду искать у вас *piéd à terre*⁴, это совершенно случайно вышло, я не хотела, – с достоинством сказала Лиля.

– Позвольте, я угадаю ваше имя? – громко перебил ее Леничка. – Анна, Нина... Елена? Постойте... вы Лиля? К вам очень идет имя Лиля... Я угадал?

– Я не хотела, поверьте... – беспомощно повторила Лиля.

– Она Лиля, – подтвердила Ася. – Ты угадал, она Лиля. Лиля Каплан.

– О-о, пожалуйста, Лиля, побудьте с нами... Вы не Лиля Каплан, вы «рок судьбы», – улыбнувшись прекрасной застенчивой улыбкой, сказал Леничка.

Никто его не понял, но не переспросил – в семье привыкли его не понимать. Да Леничка и сам не хотел бы, чтобы его понимали. Мальчиком, в гимназии, Леничка имел прозвище Таинственный Остров, и это было замечательно точно – он был не только отдельный от всех, но и как будто непроницаемый, сам в себе.

И только Фаина подозрительно повела глазами и носом – она уловила напряжение между Леничкой и этой полупрозрачной девочкой и теперь чуть ли не приняхивалась к то-

⁴ Пристанище (*фр.*).

му, что происходило. Она ничему не позволила бы занять какое-то не санкционированное ею место в атмосфере дома, тем более какому-то «року судьбы». Но, может быть, мальчик просто смущается красивой гостью?

– Леничка почитает вам свои стихи, он у нас выдающийся знаменитый поэт, – лицемерно похвалила Фаина.

Леничка нервно дернулся, всем своим видом показывая: нет, ни за что, читать стихи за семейным столом, за тарелкой пшенной каши?!

В этой семье, рядом с крупными полнокровными Левинсонами, у которых всего было много, и тела, и души, Леничка выглядел как подкидыш. Откуда он у них такой взялся, нежный, тонкий, нервный, сам как поэзия?.. И Ася пишет стихи, странно, что у таких земных полнокровных людей народились сплошь поэты и поэтессы...

Оказалось, Леничка Асе и Дине не родной, а двоюродный. Отец Ленички, Илья Маркович Белоцерковский, родной брат Фаины, показался Лили похожим на чеховского дядю Ваню – неприкаянный, печальный, задумчивый, вроде он тут, а вроде и нет.

По правде говоря, Лили ничего не понимала, – кто они и что. Леничка упомянул, что он еврей, и значит ли это, что они все евреи? Может ли еврей быть дворянином, иметь титул? Наверное, нет, но тогда они люди не ее круга. И действительно, старшие Левинсоны были не очень хорошо воспитаны, Мирон Давидович прихлебывал чай, Фаина в задум-

чивости чесала голову, Ася сутулилась, – сама Лили держалась прямо, как струна, и ничто на свете не заставило бы ее сидеть, развалившись, как сидела Дина. Но Леничка и его отец Илья Маркович ничем не отличались от тех, кто приходил в гости к *ее* отцу, сидел в их гостиной, они совершенно точно были людьми *ее* круга!.. Это была загадка – одна семья, почему же они такие разные?.. Впрочем, все это уже не имеет к ней никакого отношения. Ей невозможно здесь оставаться – неблагоприятно просить о спасении тех, кто тебе обязан. Казалось бы, такое тонкое понимание чести было неожиданно для Лили после всех *ее* хитростей, но «*est*» *se ras immoral* – разве не безнравственно принимать благодеяния в оплату долга?..

– Я вам очень благодарна, мне пора... – Лили встала, присела в полуреверансе, пошатнулась и, совершенно отчаявшись, понимая, что судьба *ее* уже решилась, и решилась неправильно, и отступить ей больше некуда, только в небытие, уже по-настоящему потеряла сознание.

– Я решил – она остается, – бросаясь к ней, на ходу говорил Леничка. – Это «рок судьбы».

– Ах, вот как? Он, видите ли, решил! – театрально вздохнула Фаина. – Это я решила! Я, а вовсе не какой-то «рок судьбы»...

Лили пролежала в жару больше недели, а потом температура упала, и она еще сутки спала, даже больше суток – ночь, день и еще ночь. Когда она проснулась, Ася протерла ее влажное тело губкой, Лили в полубреду корчилась от стеснения, Ася гладила ее по голове, Дина стояла рядом с «организаторским» лицом, Леничка заглядывал в дверь – жива ли...

«Вы, конечно, порядочные люди, но... впрочем, как хотите, воля ваша», – это было все, что сказал по поводу Лили Илья Маркович – как будто он вообще был не здесь, как будто он отделял себя от остальных. В сущности, ему совершенно безразлично, что происходит в его доме, девочкой больше, девочкой меньше... Он лишь поморщился, когда девочка назвала себя – Лиля Каплан. Его жена, его Белла уехала с доктором Капланом. Модный доктор Каплан был вхож в дом, лечил и его, и Беллу, и Леничку, и, значит, их роман протекал здесь, в этой квартире, они переглядывались и целовались за его спиной... Господи, какая пошлость!.. Ему непременно нужно взять себя в руки, нельзя же всю жизнь вздрагивать, услышав ненавистную фамилию, тем более Каплан – распространенная фамилия, как Иванов.

Вообще-то, они совершенно не представляли себе, какая девочка лежит в жару у них в Асиной комнате, – Асина комната была самой теплой. Нисколько не представляли себе,

какая эта Лиля Каплан – вовсе не благодетельница, а, наоборот, девочка-в-тихом-омуте-черти-водятся.

...Нет, никаких совсем уж страшных грехов за ней не числилось, так, по мелочи: непослушание, самоволие, хитрость. В кабинете отца стоял большой диван с откидными полочками сбоку, на полочки удобно было класть книжку и читать. В одном шкафу хранились номера журнала «Огонек» с тех пор, как он начал издаваться в 1902 году, на нижних полках детские журналы «Светлячки», «Задумчивое слово» – для Лили. В другом книжном шкафу Карамзин, все двенадцать томов «Истории государства Российского», и собрания сочинений – Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Некрасов, Лесков, Достоевский, Чехов. В отдельном шкафу Диккенс, Конан-Дойль, Мопассан, Золя, Бальзак, Байрон и другое, волнующее воображение, – от Петрония Арбитра до Апулея и Боккаччо, книги не для детского чтения, но этот шкаф не запирался на ключ, – отец был уверен, что Лили никогда не возьмет книгу без разрешения. Лили любила Байрона, Шиллера и все остальное – романтическое, а иногда можно было почитать и детские рождественские истории из журналов, но ведь во «взрослом», запрещенном шкафу наверняка самое интересное, необходимое, чтобы *узнать про жизнь все!*

Нужную книгу можно было под платьем унести к себе, заставив просвет книгой из второго ряда; торопливо проглотить ночью, так же, под платьем, пронести обратно в кабинет

и чинно улечься на диван с журналом «Светлячки», и все это было как шаловливость котенка: вот какой я пушистый ангел, а сам-то колбасу украл и уже съел.

С десяти лет до тринадцати Лили перечитала все. Мопассан был очень физиологичный и «про деньги», от приземленного эротизма проституток Золя ее подташнивало. Боккаччо вызывал стеснительное удивление, но она читала – торопилась узнать про жизнь все. А если внимательно прочитать всего Бальзака, то не нужна другая школа пленять мужчин, понять секреты обаяния и власти. Лили тоже будет пленительной, как все эти красавицы герцогини, готовые на все, чтобы сохранить и мужа, и любовника, и место в свете. Ну, и конечно, хотелось быть как Наташа Ростова, поднимать треугольное личико с распахнутыми глазами, загадочно смотреть с кроткой укоризной, а если улыбаться – чтобы это было как подарок.

На дне шкафа стыдливо притаился Арцыбашев, – его романы считались безнравственными, проповедующими сексуальную распущенность. Отец мог приобрести их из любопытства к скандальной славе, но для Лили, нежной девочки, читать такое – проступок по иерархии проступков такой же, как гимназисту-первокласснику принести в класс дешевые порнографические открытки или беспризорной девчонке поднимать перед мальчишками юбку на заднем дворе.

Ну, и еще Лили таскала книжки у горничной, это были «женские романы» Вербицкой – свободная любовь, женщи-

ны, живущие страстями, сомнительные любовные приключения... Отец отнесся бы к этому с презрительным неодобрением – *его* Лили не может читать бульварную литературу. Но хитренькая лисичка Лили с тихим упорством рыла свои норки, где хотела.

Лили довольно долго держали дома, – отец не желал с ней расставаться, но в средние классы все же отдал ее в Институт императрицы Екатерины, который располагался во дворце на Фонтанке рядом с Шереметьевским дворцом. Отдал, но через неделю забрал.

Лили поняла, что не будет там учиться, в первую же минуту, когда ее одели в допотопную форму, похожую на платье с кринолином девятнадцатого века, и она тут же начала беспокойно оглядываться, как зверек, почуявший ловушку. Ко всему прочему, для средних классов полагалось красное платье, а Лили не любила красный цвет в одежде. Дома она одевалась, как хотела, слишком взросло, у нее даже было одно платье в стиле вамп, из черного сукна, облегающее, – на девочке смотрелось странно. И еще дома у нее были тайные ботинки – лакированные, до колен, со шнуровкой, ах, какие... Тайно приобрести ботинки Лили смогла, но ее свобода имела пределы, – нечего было даже мечтать о том, что ей разрешат носить такую разнузданно модную вещь... В лакированные ботинки Лили наряжалась у себя в детской.

Но в Институте запрещалось все! Прически полагались гладкие, девочки выглядели как прилизанные мумии, а у Ли-

ли были волнистые волосы, и ее наказывали за каждый выбившийся локон. Форменное платье надевалось на корсет, туго зашнуровывалось, и уж это Лили никак не могла стерпеть! Наказания сыпались на нее как дождь.

Особенно Лили раздражало обожание. Младшая девочка выбирала себе девочку из старших классов и «обожала», например прогуливалась позади обожаемой, преданно глядя ей в спину... Лили ни в коем случае не желала никого обожать. К тому же в Институте Лили не была для всех главной.

Лили соврала отцу, что некоторые девочки к окончанию Института считают на пальцах, что ей не разрешают читать (действительно, в Институте невозможно было до утра валяться на диване и читать романы, и ее выбор книг был ограничен Евангелием), – и Лили забрали.

С тех пор Лили обучалась дома, и ее время было распланировано до минуты, – она училась, училась и училась. С французскими гувернантками вечно была какая-то маета, хоть и взятые по рекомендации, они часто менялись, отчего-то всегда попадались неудачные, слишком уж предприимчивые, одна даже вознамерилась найти себе покровителя в отце Лили. То есть с точки зрения Лили они были *удачные*: на уме у них были только романы, романы настоящие или воображаемые, и они подробно рассказывали ей про все свои «падения»...

Бонна Амалия была хорошенькая, белокурая, пухленькая, классическая Гретхен, и веселенькая, все время прихихи-

кивала. Она прижилась в семье как своя, Лили с ней были неразлучная парочка, шерочка с машерочкой. Отсюда прозвище – Машерочка Прихехешевна. Раз в неделю Машерочка Прихехешевна покупала две коробки конфет, прятала коробки под кроватью, и обе, воспитанница и воспитательница, без меры наедались конфет, так что потом, изображая недомогание, ничего не ели за обедом.

Спустя несколько лет Машерочка Прихехешевна уже не могла Лили ничему научить, – воспитанница говорила по-немецки не хуже своей бонны, а писала лучше, без единой ошибки. Для развлечения Лили пыталась научить Машерочку Прихехешевну русской грамматике, но та ни слова не знала по-русски и твердо решила никогда ни за что не узнать.

Лили училась, чередуя светское обучение – фортепьяно, рисование, бальные танцы – с математикой и естественными науками. Ну, и разумеется, древнегреческий и латынь, не подробно, но достаточно, чтобы она могла процитировать что-то из Горация, Ювенала, Петрония. И все это не считая образовательных изысков, которые казались отцу необходимыми для гармоничного развития.

Однажды отец решил, что Лили нужно научить дифференциальным исчислениям, и полгода к ней приходил университетский профессор, другой год был посвящен естественным наукам, и она налиwała серную кислоту в сахар, получая черную лаву, собирала гербарии, заучивала классификацию Карла Линнея и решала задачи на законы Ньюто-

на. В общем, Лили образовывали, словно старательно начищая серебряный чайник, терли до блеска. Но никаких определенных планов на ее счет у отца не было; что он будет делать с Лили, такой образованной, он не знал.

Лили всегда была в кого-нибудь влюблена, в кого-то в лицейском мундире, в гимназическом мундире, в одного юнкера, потому что он был гениально красив. С ним у Лили был настоящий роман: юнкер стоял на коленях, прося о поцелуе, и они целовались, страстно, как в романах Вербицкой, затем юнкер стоял на коленях, и Лили отдалась ему... в воображении, все это происходило в воображении, причем исключительно ее собственном. Лили видела юнкера несколько раз из окна и один раз, выходя из экипажа у подъезда, и в лучшем случае он мог всего лишь отметить ее как хорошенькую, но глупую малышню, у которой даже грудь еще не сформировалась, ну, а в худшем – он вообще ее не заметил... Отец, конечно же, ничего не знал и даже не догадывался, что его дочь такая экзальтированная, романтическая особа, иначе он запретил бы ей *всё*... Кроме некоторых вещей, – к примеру, отцу не пришло бы в голову запретить Лили курить его папироски или пробовать настойки. Лили курила и пробовала, – было ужасно увлекательно ощущать себя такой безнадежно испорченной. Ей также не запрещалось посылать свои произведения в журналы, – разве, глядя на нее, можно было подумать, что она способна сочинять глупости и рассылать эти свои глупости по журналам?!

Лили послала свое стихотворение о падении в журнал «Аполлон» – от имени своей горничной – и получила отказ совсем как настоящий поэт: «Всегда с интересом, непременно пробуйте дальше». Горничная так никогда и узнала о том, что она на досуге пишет стихи и получает отказы.

Самое здесь удивительное, какова же хитрюга должна была быть малышка Лили, чтобы при тотальном контроле, при гувернантках и учителях, умудриться прорасти сквозь строгую систему воспитания, как трава сквозь асфальт, – читать «неприличные» книжки, влюбляться во всех подряд, рисовать в тайном дневнике эротические сценки, покуривать и рассылать по журналам глупости от имени горничных...

Но, несмотря на весь этот тайный эпатаж, Лили не была испорченной девочкой, просто ее отец был очень тихий человек, и жизнь ее с отцом была очень тихой, и оттого ей хотелось вырваться на свободу во всех местах, где только возможно, и оттого вся ее жизнь была борьба, борьба не против чего-то, а просто – за себя.

...Что из этого Лили могла рассказать людям, к которым она случайно приблудилась?

Про форменное платье в Институте – белая пелеринка, на коротких рукавах сверху еще одни съемные белые рукава?.. Как вообще она собиралась жить в этой семье, не имея даже простейшего опыта жизни СРЕДИ ЛЮДЕЙ?.. Но что ей было делать – вернуться домой и... и что? Умереть, вот что,

и тогда больше никто не скажет о ней: «Какая же эта Лили красивая, умная, знает латынь и дифференциальное исчисление».

Впрочем, Лили больше не была прежней одинокой, не видевшей людей девочкой, — живя одна, она ПОЗНАКОМИЛАСЬ С ЛЮДЬМИ, в общем, кое-какой опыт у нее все же появился. Опыт этот был совершенно как у Золушки, которая научилась каким-то добродетелям, перебирая замарашкой горох и подметая полы.

Отец оставил Лили ДОМА. К тому времени, когда он вышел из дома и не вернулся, уже был издан декрет об отмене прав частной собственности на недвижимое имущество, и некоторым владельцам квартир уже предлагали освободить жилье для более ценных для революции людей, но все это еще были случаи, курьезы. Отец и воспринимал это как анекдотичное недоразумение, как глупость и неразумность новой власти, а не как ее силу... не было никаких сомнений в том, что десятикомнатная, на весь этаж, квартира на Фурштатской с каминами и эркерами, с книгами, картинами и коллекцией тканей, остается их домом.

Вскоре после исчезновения отца началось «вселение», — отец пропал в августе, а в конце сентября дом Лили уже перестал быть ее домом. Власти объявили квартирный передел — жителей рабочих казарм массово переселяли в барские квартиры. Богатой, по словам Ленина, считалась каждая кварти-

ра, в которой «число комнат равняется или превышает число душ населения, проживающих в этой квартире». В квартире на Фурштатской было десять комнат, и даже если бы вместе с Лили там проживали еще девять душ, то и это уже была бы «богатая» квартира. Ну, а так квартира получалась сверхбогатой и сверхнаглой – одна маленькая Лили с бонной на десять комнат.

Домовой комитет, сформированный из дворника и двух кухарок, объявил квартиру пустующей, а Лили сочли то ли призраком, то ли буржуазной отрыжкой, то ли просто забыли, как чеховского Фирса. Ну, а бонна, Амалия Генриховна, в связи с неопределенным статусом, вообще в счет не шла – не буржуйка, не пролетарка, не барышня и не кухарка, в общем, типичный призрак, нечего о ней говорить. И все десять комнат – кабинет, спальни, гостиную, детскую, столовую, музыкальную гостиную и комнаты с коллекцией тканей заселили чужими людьми.

Чужие люди начали устраиваться. Внесли в квартиру узлы, мешки, мешочки, жбаны, бидоны, вкатили бочонок кислой капусты, – загадка, как они его переместили из прежнего жилья на окраине, неужели катили по улицам через весь город?.. Чужие люди осматривались, примерялись к буржуйскому, красивому, сначала робко, неуверенно, а затем – обжились.

Теперь на диванах в прихожей валялись котомки, а весь пол был усеян окурками. Лили демонстративно вынесла в

прихожую огромную малахитовую пепельницу, мысленно прикидывая, не дать ли захватчикам пепельницей по башке. Сказала вежливо – вот пепельница. Но чужие люди бросали дымящиеся окурки под ноги, гасили каблуками и плевали на пол. Жаль, что они были не похожи на умных и добрых рабочих из рассказов в детских журналах, они были похожи на «ой, страшно...».

Лили не злилась, не скрежетала зубами, не была презрительной и высокомерной, не желала отомстить этим, как тараканы расползшимся по ее дому, людям. Она их не видела, как будто они были привидениями, летающими с кастрюльками и дровами по ее родовому замку. А она не верит в привидения и потому проходит мимо, глядя сквозь них. Но эти привидения дурно пахли, неумело пользовались туалетом, орали друг на друга и на детей, сморкались на пол... Чужие запахи, чужие слова, чужая агрессивность то и дело настигали ее, и чужих было так много, что она не всех знала в лицо. ...Так что после процедуры уплотнения квартира Горчаковых стала напоминать Ноев ковчег, в который Лили взята была из милости и не по заслугам.

Кто-то беззлобно называл Лили «буржуйка недорезанная», и она думала – сейчас ее дорежут. Но никто ее не обижал. Лили ждала, что новые жильцы потребуют разбить икону или плюнуть на портрет Государя, – маленькой Лили обожала Государя, а с тех пор как Лили выросла, в доме не было

ни одного царского портрета, но вдруг потребуют плюнуть? Она ждала насилия над собой и уже решила – если что, заколоться и умереть, но ни до портрета Государя, ни до Лили никому не было дела.

Лили с Амалией Генриховной комнаты не досталось. Лили пришлось доказывать, что они с Амалией Генриховной не призраки, что они – есть.

– Вы кто такие? – строго спросил мужчина с бабьим лицом в первый же день после своего вселения в кабинет Алексея Алексеевича.

Лили про себя дала ему прозвище Тетенька, хотя на самом деле он был никакая не тетенька, а служащий районного жилищного отдела. Служащий районного жилищного отдела был одет в кальсоны Алексея Алексеевича, костюм Алексея Алексеевича, а в кармане брюк Алексея Алексеевича у него тикали часы Алексея Алексеевича. Домовой комитет описал имущество в квартире и все, включая платье и белье, шляпы и костюмы, посуду и телефонные аппараты, распределил между новыми жильцами. В документе было написано – «брюки мужские, кальсоны мужские нижние, хряк мужской, хряк женский». Хряк мужской – это был фрак Алексея Алексеевича, а хряк женский – твидовый кардиган Лили. Служащий принял вещи и составил расписку, исправив «хряк» на «фрак». Лили никогда не видела его во фраке, и Лили подозревала его в том, что служащий примерял фрак у себя в комнате и вертелся в нем перед зеркалом. А «хряк

женский» был им подарен другому служащему районного жилищного отдела, очень худенькому и меньшего роста.

– Ущипните меня, – предложила Лили и закатала рукав, обнажив тонкую, словно у куклы, ручку. – Ущипните меня как представитель власти.

– Зачем? Меня советская власть не уполномочила щипать, – удивился служащий.

– Нет, щипайте, – настаивала Лили, – и вы поймете, что я не призрак. Если бы я была призрак, я могла бы бродить повсюду, то в одном месте прикорнуть, то в другом. Но я живая. А вас советская власть уполномочила, чтобы живой призрак бродил по квартире? Вы же истребляете буржуазию как класс, а не ведете войны против отдельных людей, – я читала в газете. Советская власть хорошо относится к детям и разрешает побежденной буржуазии оставить по одной комнате на каждого человека. Так написано в газете.

Ошеломленный служащий не стал щипать нахальную Лили и как представитель власти разрешил жить в квартире. Новые жильцы готовили еду у себя в комнатах, кухня оказалась никому не нужной, а Лили с бонной, как выражалась Амалия Генриховна, «*Unterschlupf in der Küche fanden*» – нашли приют на кухне. Но в домовый список их с Амалией забыли внести, и они так и остались мертвыми душами, – Лили нигде не числилась, что и помогло потом княжне Лили исчезнуть...

В первый же день после вселения Лили ловко пробралась

в гардеробную – в детстве она облазила дома все укромные уголки и заперла на ключ старинный сундук. А когда они с Амалией «нашли приют на кухне», вытащила из сундука шубы, снесла на кухню, подстелила под одеяло на плиту. Так они и спали на шубах: на пересыпанных нафталином старинных беличьих салопках, на бобровой шубе, на отделанной соболями ретонде с широкими рукавами...

Зимой девятнадцатого года эти шубы спасли их с Амалией от голодной смерти. Лили вытаскивала по одной шубе, пока на плите не осталось одно одеяло. Первый раз продавать шубу было очень страшно, страшно было не то, что обманут, а что она не знала – как вообще продают. ...В женских шубах, огромных, с рукавами как у Василисы из сказки, Лили тонула, заплеталась ногами в подоле, и она пошла на рынок в отцовской бобровой шубе. Отец говорил, что тридцать лет назад заплатил за бобра пятьсот рублей. У бобра было хорошее сукно, шелковая подкладка, бобра купили сразу же. Покупатель попался добрый и честный: проводил Лили до дома, у подъезда Лили сняла шубу, и он отсчитал ей деньги. Потом у Лили организовалось настоящее шубное предпринимательство: шубу покупала соседка по дому, везла в деревню, и проданной шубы хватало Лили с Амалией надолго, ведь с умом купленные крупы и сахар можно потом поменять на масло, конину, хлеб. Покупать и менять продукты тоже пришлось Лили, Амалия Генриховна оказалась в хозяйстве совершенно бесполезной.

Было невероятно, чтобы человек так изменился, превратился в полную свою противоположность. Машерочка Прихехешевна, бело-розовая, смешливая, как пупс, которому нажимают на живот, чтобы услышать звук, стала депрессивная, мрачная, из тех, с кем все тяжелое кажется совсем уж беспросветным.

Машерочка Прихехешевна немного сдвинулась – не сошла с ума, а именно сдвинулась, повернулась чуть в сторону от реальности. Плакала, смотрела беспомощными глазами, однажды попросила спички – хотела развести в воде серные головки и отравиться. Наверное, Амалия Генриховна была создана для счастья, для конфет...

Теперь, в несчастье, Амалия боялась всего: «Die Welt ist schrecklich geworden, wir werden alle zugrunde gehen» – мир стал страшный, ужасный, мы все погибнем...

Особенно она боялась попрыгунчиков. Кто-то на улице рассказал ей о попрыгунчиках – нужно же было найти доброго человеку, знающему немецкий язык! Амалия, округляя глаза, пересказывала: попрыгунчики (она говорила «попригунтшики») в белых саванах до пят и колпаках прыгают на жертву откуда-то сверху, на ногах у них особые пружины, на которых они скачут вокруг своей жертвы, пока у нее от ужаса не разорвется сердце.

– Es gibt keine «попрыгунчики», – успокаивала ее Лили. – Und wenn es sie gäbe, hätten sie es nicht nötig zu töten. Sie wollen einen nur berauben, man soll denen sofort alles geben was

man ha⁵.

Амалия смотрела на нее горьким взглядом, в котором читалось – что же у нее такое есть, кроме чести?..

– Дура ты, Амалия, – в сердцах по-русски сказала Лили и тут же перевела: – Du sollst keine Angst habe, meine Liebe, – не бойтесь, дорогая...

Давно уже было непонятно, кто чья бонна, кто за кем приглядывает, но все же Лили была не одна. Они с Амалией спали на широкой, окаймленной черным чугуном плите, – как пирожки.

– Сегодня я де-воляй, а ты пирожок. Ты подгорела с правого бока, перевернись, – говорила Лили, принималась щекотать и смешить Машерочку, пока не выдавливала из нее слабый вздох, совсем не то, что ее прежнее веселое хихиканье.

Но потихоньку Амалия размораживалась, приходила в себя и иногда даже начинала разговор на свою любимейшую тему – о будущей свадьбе Лили: das Hochzeitskleid mit der Schleppe, die Brautschleier, die Fleur d'orange... die Schleppe wird von hübschen Kindern getragen... du wirst die schönste Braut der Welt sein⁶...

⁵ Нет никаких попрыгунчиков... А если и есть, то им ни к чему убивать, они только грабят, нужно просто сразу же отдать им все, что есть...

⁶ Свадебное платье со шлейфом, фата, флердоранж... шлейф несут очаровательные дети... вы будете самой красивой невестой на свете...

Больше всего на свете Лили боялась, что Машерочка Прихехешевна ее бросит и она останется С ЧУЖИМИ ЛЮДЬМИ.

Когда закончились шубы, начался голод. Но Лили к тому времени уже познакомилась поближе с некоторыми жильцами. Рара говорил – достоинство истинно культурного человека в том, что он умеет со всеми найти общий язык. Вот Лили и нашла общий язык, – служащий районного жилищного отдела с бабьим лицом по прозвищу Тетенька привозил продукты из деревни, а Лили пела ему русские и цыганские романсы. Тетенька играть не умел, но музыку любил так сильно, что собственноручно перетаскивал из гостиной в кабинет полуконцертный рояль Бехштейн и несколько раз в неделю как замороженный слушал русские и цыганские романсы в исполнении Лили, – вот ей и пригодилась ее любовь к легкой музыке, за которую ее ругали, пряча запрещенные ноты... Лили попробовала играть французские песенки – французские песенки не понравились, как-то раз спела арию Лизы из «Пиковой дамы», проникновенно страдая в образе обманутой девушки и поглядывая на сваленную в углу картошку, но и это не подошло. Только романсы. Однажды она за вечер сыграла «Очи черные» двадцать восемь раз, и он дал ей пять картофелин. Картошка была мороженая, в черных пятнах, от сваренной картошки пахло гнилостью, для Лили с Амалией это был праздник – по две с половиной картофелины. А однажды он просто так, без игры, угостил ее сушеной

свеклой, и они с Амалией пили почти настоящий чай, кипяток с кусочками сушеной свеклы, кусали понемножку, было сладко, как будто сахар. Но настоящей дружбы с Тетенькой не получилось.

Почему-то Лили особенно боялась не умереть от голода, а отупеть от голода. Она составила себе план занятий, пробовала вспомнить древнегреческий, латынь, – все же она прошла за полгода трехгодичный гимназический курс. Когда-то отец мучил ее Плутархом, Лили упрямилась, ни за что не хотела читать, а теперь захотела. Может быть, она одна в умирающем городе читала Плутарха, лежала, скорчившись, на плите, держала синий том в синих скрюченных лапках...

Книги теперь были во владении Тетеньки, и Лили ходила к собственным книгам как в библиотеку, одну книгу возвращала жильцу, другую брала...

– Можно мне взять книгу? Я Плутарха принесла.

Тетенька сидел за письменным столом Рара, стол был весь заляпан фиолетовыми чернилами. Пузырек с чернилами стоял прямо на сукне, под ним расплывалось пятно... ползло по зеленому сукну... Пусть пользуется чужим, но *почему не подложить бумагу?*

Тетенька взял у Лили Плутарха, повертел в руках и вдруг зачем-то бросил синий том в рояль, на струны, и струны загудели низким стонущим звуком.

– Зачем же так? Вы ведь любите музыку, – еле слышно прошептала Лили, сама еще не зная, плачет она или злится.

Тетенька смеялся, вынимал книги из шкафа одну за другой, швырял в рояль – папашу Гранде, Шерлока Холмса, Джейн Эйр... Книги падали на струны, струны гудели все ниже и ниже, Лили молчала, слушала, как стонет рояль... Во всем этом не было ничего драматичного, Тетенька не думал обижать Лили, он хотел развлечь ее и развлечься сам и искренне удивился и обиделся, когда Лили вдруг подскочила к нему и принялась молотить кулаками по лицу. Лили содрогалась от брезгливости к чужому телу и своего яростного желания сделать очень, страшно больно, и, поняв, что Тетеньке не больно, а смешно, быстро и зло расцарапала ему лицо, ото лба до подбородка, и тут же, испугавшись его бешеных глаз, закричала «помогите!».

Вошедшим на ее истошный крик соседям Лили показала мгновенно ею самой расстегнутую кофту.

– Он хотел сорвать с меня кофту, – сказала она ангельским голосом. – Я не понимаю, зачем ему моя кофта...

– Вот сволочь, гад, полез к девчонке, – зашумели соседи.

– Психическая, буржуйка, расстрелять! – орал служащий.

Лили вытащила из рояля «Джейн Эйр», лежавшую на самом верху. Она не любила «Джейн Эйр» – наивная, сентиментальная, для дурочек...

– Помялась... – сказала Лили, погладила книгу и заплакала и продолжала горестно повторять: – Помялась, помялась книжка...

Книги потом сожгли. И «Джейн Эйр» сожгли, и Бальзака

сожгли, и Дюма, и Пушкина – дров-то уже никаких не было.

С Тетенькой они помирились, и он приглашал ее к себе греться, – человек он был хотя и сумасшедший, но, в сущности, неплохой, и Лили ему нравилась своей цепкостью к жизни. Такая не пропадет, одобрительно думал он.

Лили действительно не собиралась пропадать. Но пропала Амалия, вышла из дома и не вернулась.

Амалия никогда не выходила из дома в сумерках, она вообще старалась не выходить из дома, но изредка, в ясную погоду ходила со своим котелком в общественную столовую на Фурштатской, там давали суп с воблой, а иногда гороховый суп, Амалия больше ценила гороховый. Амалия боялась попрыгунчиков, а Лили боялась, что однажды Амалия пойдет за гороховым супом и подумает – хватит, хватит уже ходить за гороховым супом для чужой девочки, пора и о себе позаботиться.

В очереди за супом Амалия познакомилась с одним молодым человеком, красноармейцем, контуженным под Царицыном.

...Отец говорил: все врожденные преимущества – титул, богатство, образованность лишь отягощают их обладателя большей ответственностью. Ее конкретная ответственность за Машерочку Прихехешевну была в том, чтобы выдать ее замуж... Амалия с Лили читали друг другу Гейне, а красноармеец не знал по-немецки ни слова, кроме «капут» и «хенде хох», но он мог послужить Амалии опорой в этом «страш-

ном ужасном мире», а любовь к Гейне – нет, не могла.

Но ведь у Лили больше не было титула, богатства тоже не было, так, может быть, ну ее совсем, эту ответственность? «Выходи за него», – фальшиво говорила Лили и ужасно боялась, что, вконец измученная голодом и страхом, Амалия ее бросит.

Январским солнечным утром Амалия вышла из дома и не вернулась. Лили ее искала, бродила по окрестным улицам, но Амалия исчезла. Может быть, тем солнечным утром на Машерочку Прихехешевну напали попрыгунчики? Правда, они появлялись только в темноте, но ведь кто чего боится, то с ним и случается. А может быть, Амалия просто бросила Лили – она так боялась, что бонна ее бросит, а кто чего боится, то с ним и случается.

Все возможные страхи Лили пережила теми ночами, на своей плите, уже без Амалии, одна, прижимая к себе куклу Зизи, – и детские страхи, и взрослые, и очень взрослые. Иногда Лили выбиралась в коридор и, как щенок, сидела под чьей-нибудь дверью – было не так страшно, все-таки люди... У соседей был быт – печурка, примус, на столе каша, сохнувшее на веревке белье, дрова в углу, а у нее этого не было.

Никого у Лили не осталось, никого, кроме Тетеньки, жильца с бабьим лицом, – он и подкармливал ее, и пригревал. Но Лили понимала – однажды Тетенька тоже исчезнет, выйдет из дома и не вернется, и не имеет значения, уедет ли он к месту службы или пропадет, как Амалия, он исчезнет

для нее, потому что у них судьбы разные. Так и случилось: Тетенька, служащий районного жилищного отдела, вскоре куда-то уехал, и вообще, в квартире стало меньше людей. Переселенные с окраины рабочие вернулись к себе на окраины, там, в их привычных жилищах, было легче выживать – был погреб, подвал, колодец во дворе. Лили о них жалела, лучше бы они были здесь, сморкались на пол, тушили каблуками окурки, орали, чем так – тихо и так жутко, как будто она уже умерла. Но ведь она нисколько не собиралась умирать, она собиралась жить, жить во что бы то ни стало!

* * *

Княжна Лили потеряла сознание чужой девочкой, а пришла в себя своей, выхоженной... Сквозь забытие она видела, как в комнату, где она лежала, вошла Фаина с какой-то совсем простой на вид женщиной с мешком. Фаина вытащила из комода большую белую салфетку камчатской выделки, женщина сложила ее как косынку, повязала на голову и, волнуясь, спросила: «Сколько десятков вы за нее хотите?» Фаина сказала – два, и та, не торгуясь, отсчитала двадцать яиц, затем Фаина добавила салфетку поменьше и получила банку топленого масла. Женщина с мешком мелькнула мимо Лили и исчезла, – наверное, это был бред. Но это был не бред – Лили каждый день давали яйца и масло.

Теперь ее право находиться в квартире на Надеждинской уже не нужно было обсуждать и новую родственность уже не нужно было доказывать, — разве спасенного можно на улицу выкинуть? Лили тут же мгновенно «забыла», что Левинсоны — Мирон Давидович, Фаина, Ася с Диной — не были ее семьей, ни даже дальними родственниками, что они были ее благодетели. Это был ее способ выжить: чувствовать себя зависимой было бы невыносимо, вот она и придумала, что она им... к примеру, любимая пятиюродная племянница... а может быть, когда люди делятся последним, это не воспринимается благодеянием, а воспринимается как будто они семья.

Ну хорошо, это Лили, а они, почему они ее взяли? Они были добрые люди — это самый очевидный ответ. Мирон Давидович был настоящий библейский патриарх — всех собрать, всех пригреть. И это правильный ответ. Но они *никогда* прежде, в обычное, мирное время не взяли бы к себе в дом голодную нищую девочку с улицы. А в смутное время, когда все привычное, нормальное течение жизни нарушилось, взяли, и это оказалось легче, как будто легче поместить дополнительный предмет в уже раздвинутые рамки существования...

Проснулась Лили здоровой и даже — вот удивительно — несколько не ослабевшей, а, наоборот, полной сил, легко поднялась с постели и, отказавшись от помощи Мирона Давидовича и от Дининого-Асиного-Леничкиного сопровождения,

отправилась на Фурштатскую за вещами.

* * *

Дальше случилось еще одно событие «как в романе», но это уже было последнее событие «как в романе».

Лили остановилась в прихожей квартиры на Фурштатской и ошеломленно забормотала: «Ой, что же это?.. Что же это такое, что же это?!»

Что она ожидала увидеть? Расчехленную мебель, натертый до блеска паркет, особенную чистоту и праздничность, которые всегда сопутствовали их осеннему возвращению из имения? Болезнь ли была тому причиной – все-таки она долго пролежала в жару – или приподнятое настроение, но Лили и вправду как будто все забыла и готовилась сейчас увидеть свой прежний дом, не уничтоженный, не разграбленный.

...Все, что показалось ценным, реквизировали сразу же, при уплотнении: картины, подсвечники, безделушки, мраморные настольные часы с фигурой амура, граммофон и ящик с грампластинками, пишущую машинку... реквизировали, конечно, и коллекцию тканей. Комиссия по вселению отнеслась к цветным рулонам не как к коллекции, а как к тканям, – Лили потом видела женщин из домового комитета в юбках, сшитых из шелков Филиппа де Лассаля. На что пригодилась персидская ткань тринадцатого века, сцена охо-

ты, она не знала, скорей всего лежала у чьей-то кровати в виде коврика.

Кое-что осталось нетронутым, но это кое-что разграбили уже сами жильцы. В гостиной зачем-то вырезали рисунки из экрана перед камином, сорвали занавеси, по полу болтались лохмотья – их рвали прямо с карнизов, стоя внизу, зачем?.. Статую Вольтера из отцовского кабинета, по каким-то причинам не реквизированную, распилили на мелкие части, расплавляли и заделывали дыры в котлах и кастрюлях, – неужели не жалко?! Особенно страстно рылись в шкафах Лили, выгребая все «красивое» – веера, заколки, шарфики, гребенки... Больше всего Лили было жаль... всего, ей больше всего было жаль всего!

...Ее последние месяцы в родном доме были страшными до потери чувства реальности.

Паровое отопление давно не действовало, а для каминов требовалось много дров. Но дров не было, жильцы сожгли мебель, затем сорвали все двери, выломали паркет. Это было все, топить больше было нечем. Холод был дикий, но самым страшным был не холод, не выстуженная кухня, в которой по утрам был легкий ледок на полу, не скученность, не агрессивность – она уже научилась понимать, как с кем обращаться: можно было замереть, можно было яростно блеснуть глазами в ответ на чье-то хамство, можно было спрятаться у Тетеньки... – самым страшным было отсутствие воды и неработающая канализация.

Под уборную отвели комнату, которая вдруг оказалась свободной, это была ее комната, детская, но Лили не сокрушалась — ах, неужели когда-то она читала здесь книги, выбирала наряды... Бесполезные сожаления, ненужные сантименты, ей было не до того, но — импровизированную уборную постепенно заливали нечистоты. Однажды она увидела плывущую в нечистотах тетрадь, это был ее детский дневник, который она когда-то, в другой жизни, прятала за чуть отошедшую половицу паркета за батареей. Лили наклонилась, зажав пальцами нос, и разобрала почти расплывшуюся фразу: «Я буду знаменитостью в 25 лет или по крайней мере в 28... А до того, как я стану знаменитой, не старше 17 лет я полюблю необыкновенного человека, гения...» Дальше было неразборчиво, а потом еще несколько слов: «Мой возлюбленный должен быть искусен в любви, а не мальчик, как я. То есть я девочка, ха-ха-ха... И непременно необыкновенный, гениальный!.. Я, кажется, уже его люблю».

Все порушилось в ее жизни, все, и никому на свете не было дела до того, что каждый раз, когда ей нужно было в туалет, Лили стучалась к жильцу Тетеньке и, внутренне корчась от стыда, молча смотрела на него печальными миндалевидными зелеными глазами. Он, также молча, снимал сапоги, и она в его сапогах отправлялась в уборную, — ступить в туфлях на загаженный пол было нельзя. Никого не волновало, что каждый раз после посещения этого «туалета» ее тошнило. Если Тетеньки не было дома, терпела и металась, а не

выбежать ли ей, как собачке, на улицу, а несколько раз она даже ходила через весь город в туалет на вокзал.

У Лили вдруг начались менструации, и это был удивительный феномен, – против всех законов природы истощенный организм давал ей знак о своей зрелости, готовности к любви. Во время первого кровотечения она решила, что умирает. При всей искушенности в теоретических вопросах любви, при всех своих выдающихся знаниях о жизни чувств, почерпнутых из романов, Лили была абсолютно неграмотна в вопросах физиологии, – ведь ни Бальзак, ни Мопассан, ни Золя не писали про менструации. Лили не удивилась бы даже, если бы из нее полилась голубая кровь... Менструации у нее то начинались, то прекращались, то опять начинались, то опять вдруг неделями шла кровь, и от этого было очень страшно, что она станет инвалидом и не сможет иметь детей.

Лили металась по комнатам, собирая вещи, – она могла взять все, что оставили жильцы, – это было ее, потом их и теперь опять ее. Но после чужих людей даже ее куклы, звери, машинки, модели парусных лодок, наклеенные на картон принцы и драконы, не казались ей ее собственными.

Лили взяла:

– Случайно закатившийся под этажерку пузырек ландышевой эссенции, маленький пузырек в деревянном футлярике, к притертой пробке прикреплен стеклянный пестик. Одной капли на волосы или платье было достаточно, чтобы

аромат натурального ландыша сохранялся долго.

– Куклу Зизи – уж Зизи она никак не могла оставить. Однажды она попыталась продать куклу на рынке, несла огромную, ростом с ребенка, куклу на морозе, прижимая к себе, и не знала, чего хотела больше – донести Зизи до рынка и продать или замерзнуть навсегда, чтобы не пришлось продавать Зизи. Нет, пожалуй, это все же преувеличение, Лили не хотела расставаться с Зизи, но и замерзнуть не хотела, она хотела жить... Зизи не купили.

– Свои новые документы. Обернула их в поднятый с пола обрывок газеты, машинально пробежав глазами черные строчки: «Обращение к гражданам... ключи от сейфов... часть содержимого сейфов, не представляющая валютной ценности, будет выдана на руки...»

В газете было опубликовано обращение ко всем гражданам, имеющим сейфы в банках. Советская власть просила помощи: банки национализированы, но некоторые сейфы так и не смогли вскрыть, и граждан просили прийти с ключами от сейфов.

Дважды в год, в день рождения и на Пасху, Лили бывала с отцом в банке Юнкера, где у него был абонирован сейф для bijoux⁷. В день рождения отец дарил ей какую-нибудь драгоценность, которую прятали в сейф. В предпоследний год это было жемчужное ожерелье, а в последний год совсем

⁷ Драгоценности (фр.).

взрослое бальное украшение – колье изумительной работы, тонкая золотая сетка, вся в мелких рубинах и изумрудах. В сейфе хранилось и ожерелье из миниатюрных пасхальных яиц, в том числе и от Фаберже, каждый год на Пасху ожерелье удлинялось на одно яичко. Это была волнующая церемония: страж в галунах провожал их в хранилище, отец набирал шифр... Шифр Лили знала, зачем-то подсмотрела – 223244.

Ей нисколько не жаль bijoux, пускай все пропадает!.. Но... если честно, как все-таки жаль bijoux, особенно невозможно представить себе жизнь без последнего отцовского подарка, колье – тонкой золотой сетки в рубинах и изумрудах. Со всем остальным можно было расстаться, а с колье нет, это было настоящее взрослое украшение, какое надевают на бал, не то что скучный жемчуг или ожерелье из пасхальных яичек... Как жаль, что у нее никогда не будет никаких балов, как жаль, что взрослые разумные люди не суют пасть в голову льва в надежде получить колье, тонкую золотую сетку в рубинах и изумрудах... Идти в банк невозможно, нельзя, отца и Леничку забрали прямо с улицы, а уж из банка она, без сомнения, не вернется назад. Но... она, без сомнения, не вернется назад, но...

Но... не идти же в банк с куклой?.. Лили посадила куклу на пол в прихожей и вышла из своего бывшего дома навсегда – с документами и пузырьком ландышевой эссенции.

На Невском, у банка Юнкера вместо швейцара стояли

красноармейцы с винтовками, и внутри банк тоже был полон красноармейцами. Все было не так, как прежде, не торжественно, а очень обыденно. Никто ей не обрадовался, не проводил ее, она сама поднялась на второй этаж, в хранилище, повторяя про себя по-французски «*du courage, mon enfant, du courage!*»⁸ и по-русски – «я взрослая, я смелая, пусть расстреливают».

В хранилище за столом сидел матрос, кроме него и Лили больше никого не было. Перед матросом на столе стояли весы. Матрос не спросил у Лили ни фамилии, ни паспорта, Лили назвала шифр – 223244. Матрос выгреб из сейфа все содержимое, вытащил из кучи все мужские золотые часы, обручальные кольца, нательные кресты и цепи к ним – это оказалась большая золотая гора. Туда же матрос положил вещи, которые он посчитал серебряными – платиновые запонки, брошки, портсигары... Взвесил отдельно золото, отдельно «серебро», спросил у Лили фамилию, заполнил какую-то бумагу, отдал Лили. Разноцветную россыпь матрос сгреб в кучу и высыпал в руки Лили со словами: «Молодец, гражданочка, сознательная. А камешки свои забирайте, они валютной ценности не представляют. – И хозяйственно добавил: – Могу дать мешочек».

...Жемчуг, ожерелье из пасхальных яиц, эмалевый с жемчугами и бриллиантами гарнитур, брошь с рубиновыми подвесками и браслет, фрейлинская бриллиантовая брошь с

⁸ Смелее, дитя, смелее (*фр.*).

огромным изумрудом, прежде принадлежавшая умершей те-тушке Лили, фрейлине императрицы Марии Федоровны, на брошке монограмма императрицы...

Если бы воспитанная барышня могла убежать, сверкая пятками, Лили стрелой помчалась бы прочь от банка Юнкера. Но она шла медленно, прижимая к себе под платьем холщовый мешочек с жемчугом, ожерельем из миниатюрных пасхальных яиц Фаберже, и главное – со своим первым взрослым украшением, колье с рубинами и изумрудами. «Я взрослая, я смелая, меня не расстреляли», – повторяла Лили.

На углу Невского и Мойки взрослая смелая Лили остановилась, сказала: «Мурр, умница Лили, мяу, мурр», не читая, разорвала на мелкие кусочки выданную ей матросом бумагу и выбросила в Мойку. По Мойке поплыли обрывки справки: «У гражданки Каплан реквизировано золото, ненужная мелочь выдана на руки».

Это было последнее событие «как в романе»...

В Знаменской церкви было так ужасно холодно, холодней, чем на улице, Лили, с трудом разжимая замерзшие губы, попросила отслужить панихиду по отцу. В церкви все тоже было не так, как прежде: в темноте тенями кружили обмотанные тряпками старухи-нищенки, и священник выглядел странно, немного как переодетая кукла, – священникам уже предписывалось не появляться на улице в церковной одежде, и, может быть, у него под рясой был надет цивильный ко-

стюм. Лили постояла у иконы Знаменской Божьей Матери, послушала тихий голос, читающий канон, и вдруг заметила, что у стоящих в ряд на коленях людей нет ни одной целой, без дыры, подошвы, и тут же застыдилась – фу, о чем она думает в церкви, на что обращает внимание!..

Лили взяла из свечного ящика свечи, поставила их на поминальный стол перед иконами, зажгла, оставшиеся свечи раздала старухам-нищенкам в рваных шaliaх. Опустившись на колени, молча, не плача, прослушала молитву, – холод от каменного пола пробирал ее до самого сердца, прошептала вслед за священником «вечная память», встала, поцеловала крест, отдала священнику ожерелье с крошечными пасхальными яичками и так же, без единой слезы, вышла.

На стене соседнего с церковью дома Лили увидела объявление – красными аршинными буквами было написано: «Производится запись слушателей, желающих обучаться...» Лили уже прежде видела подобные объявления, но она никогда не дочитывала их до конца – она уже давно не чувствовала себя человеком, которого могут чему-то учить, и не хотела лишний раз плакать. Но теперь все так изменилось в ее жизни, – она опять не дочитала, чему именно предлагают обучаться, но ноги сами понесли ее по адресу, на Дворцовую набережную.

Это оказался бывший особняк Мятлевых, Лили узнала зал с огромными лазуритовыми вазами между малахито-

выми колоннами, — она бывала в этом дворце каждый год на рождественской елке. В центре зала, за столом, покрытым красным сукном, сидел человек во френче, курил козью ножку из газеты, не длинную, а круглую, с дырочкой, чтобы лучше курилась.

— Вы куда записываетесь, товарищ? — спросил он.

— А куда можно записаться? — спросила Лили.

— Театральное отделение, кинокурсы, ритмическая гимнастика, можно просто слушать лекции по искусству.

— Я... я хочу на театральное, кинокурсы, ритмическую гимнастику, — сказала Лили. — Еще я хочу просто слушать лекции по искусству.

— Какие иностранные языки знаете? Автомобилем управляете? Верховом ездите?

Лили молчала. После Февральской революции отец сказал, что теперь у помещиков один долг — вернуться на свои земли и помочь народу осуществить его новые задачи. Поэтому лето они провели в своем имении, в Ярославской губернии. Лили не знала, помогал ли отец народу в решении каких-то задач, у нее была обычная счастливая дачная жизнь: она исчезала на целый день, валялась в стогах сена, прыгала с крыши дворовой постройки и приходила домой к ночи в порванном платье, с ободранными коленками, а иногда убегала ночью из дома и слушала соловьев... Тем летом она сделала большие успехи в верховой езде, у нее уже получалось прилично. Жеребца звали Аполлон, но Лили называ-

ла его Люша, Люшенька.

– Имя, фамилия, – строго спросил человек во френче.

Сейчас она сделает вид, что ей стало нехорошо, убежит и больше никогда не станет подвергать себя опасности, никогда не появится там, где ее спросят про иностранные языки и верховую езду. Сейчас она схватится за сердце и уйдет, вот только еще чуть-чуть постоит тут, рядом с этим столом, покрытым красным сукном, на одну минуту представит, что ее могли бы куда-нибудь записать, и сразу уйдет.

– Вот мои документы, – она протянула удостоверение личности.

Человек во френче отстранил ее руку:

– Зачем мне ваш документ, я вам и так верю, нынче не царские времена. Имя, фамилия.

– Лиля Каплан. Немецкий, французский, английский хуже, езжу верхом... – благодарно прошептала Лили. От волнения она вдруг как будто разучилась произносить некоторые согласные, и у нее вышло «ангисский хузе, езду вехом».

– Вы приняты, учитеесь на здоровье. Актрисой будете! А нормальной дикции вас тут обучат, не волнуйтесь, – сказал человек во френче.

Возле Саперного переулкa лежала палая лошадь, Лили в ужасе хотела быстро-быстро промчаться мимо, но отчего-то замедлила шаг и все смотрела и смотрела, как загипнотизированная, не в силах смотреть и не в силах отвести глаз. Ли-

ли тошнило, выворачивало наизнанку, и вдруг, едва отдышавшись, она крикнула: «Нет, я не хочу!»

«Не хочу!» было сказано *всему плохому* – решительно. И она откуда-то знала, что это – последнее страшное, встретившееся на ее пути, а дальше все будет счастливо.

Задыхаясь от слабости, но убыстряя и убыстряя шаг, повторяя про себя: «Все плохое – нет, все хорошее – да, да, да», Лили понеслась на угол Невского и Надеждинской, домой.

Вот так Лили и присоединилась к семейному портрету, к семейству с картины Рубенса: пышная увядающая мать, нежнейший красавец отец, взрослая созревшая дочь, и еще одна дочь, и юноша – совсем другой, с тонким нервным лицом, он с ними, но чуть в стороне, отдельно. И новая дочка, очаровательная, шаловливая и невинная, присевшая на скамеечку у ног и готовая в любой момент вскочить и унести играть.

На этом закончилась первая часть ее жизни, – все эти новые документы, холщовые мешочки с драгоценностями хотя и были правдой, но напоминали авантюрный роман, а теперь у нее началась другая жизнь, просто роман.

Роман

1920–1921 годы

Глава 1. Жизнь в людях

– Лиля Каплан, – учительским голосом, строгость плюс доброжелательность, сказала Дина.

Почти голая, без трусов, но в шляпе, Дина расхаживала по кухне с конспектом в руках, потряхивая толстеньким голым задом, торчащим из-под короткой рубашонки, не идеально чистой, с оборванным кружевом. Шляпа на ней была мужская, фетровая, тоже не идеально чистая, с пятнами на полях. Дина читала вслух и в особенно важных местах делала голосом ударение, строго взглядывая на Лилию из-под шляпы и притоптывая голый полненькой ножкой.

– Лилька, не спи! – прикрикнула Дина, и Лиля встряхнулась, улыбнулась невиновато.

Конечно, это была та же девушка, что и год назад, те же горестные губы, распахнутые глаза, вроде бы все то же, но – не то. Она больше не была классической сироткой, заморышем со спутанными кудряшками, прежняя драматичность, голубоватая прозрачность исчезли, и теперь никто не остановился бы на улице, потеряв голову от ее жалкости. Теперь она

была обыкновенная красивая, даже очень красивая девушка, с модной стрижкой вместо длинных кудрей и всегда готовыми к смеху огромными зелеными глазами. И очень кокетливая, – она кокетничала даже с Диной, улыбалась невиноватой улыбкой, покачивала ногой, делала «магический взгляд». Во взгляде ее быстро сменялись нежность, снисходительность, послушание, упрямство, но на Дину ничего не действовало, – она продолжала читать свой конспект. Впрочем, Лиле это было все равно, она могла бы строить глазки и стулу.

– Какая главная задача третьего съезда РКСМ? Я тебя спрашиваю, Лиля Каплан, – Дина всегда обращалась по фамилии, когда бывала «при исполнении». – Ах, ты не знаешь? Я тебе говорю, главная задача – подготовка рабоче-крестьянской молодежи к мирной, созидательной деятельности. Записала?

Лиля поджала щеку рукой и послушно принялась водить ручкой по бумаге. На бумаге появился человечек – толстенький голый пупсик в шляпе, внизу подпись – «Дина Левинсон».

– Записала.

– Молодец, – кивнула Дина. – Важнейший теоретический и программный документ, руководство для деятельности партии и комсомола – это речь Ленина на съезде «Задачи союзов молодежи». Главную цель комсомола Ленин видит в том, чтобы – возьми в кавычки, это цитата – «помочь партии строить коммунизм и помочь всему молодому поко-

лению создать коммунистическое общество».

– Дина, а почему ты в шляпе?

– В шляпе? – Дина удивленно подняла руку и ощупала шляпу, рубашка поднялась, открывая черный пушистый треугольник. – Надела шляпу, а что? По-моему, красиво, когда на женщине мужская шляпа... Не отвлекай меня, не заговаривай мне зубы, Лиля Каплан. Ленин призвал юношей и девушек и тебя, Лиля Каплан, учиться коммунизму...

Лиля не спросила, почему Дина сегодня голая. Не то чтобы Дина считала, что проводить с Лилей политзанятие – иногда это случалось раз в неделю, иногда чаще – нужно непременно голой и в шляпе. На этих кухонных политзанятиях она могла оказаться и в пальто, и в ночной рубашке, и завернутая в одеяло, и совсем голая, как ей было угодно, – это зависело лишь от того, когда у нее выдавалась минутка заняться Лилей. Дина всегда опаздывала – в институт, или в школу, или в вечернюю школу. Она торопилась, кричала сердитым басом: «Где моя юбка, зонтик, ботинки?! Все, меня уже нет...» Дина была странным образом совершенно лишена стыдливости, могла и при отце, и при Леничке выйти с голой попой или грудью. Лиля давно уже не смущалась, не отводила глаз от ее розовой пухлости – привыкла.

Поначалу все у них было для Лили непривычно, неожиданно, чудно, – сказать, что она попала в другую, менее чо-

порную среду, означает ничего не сказать. Просто она и ее благодетели – или новая семья – были с разных планет. И это, пожалуй, не вполне точно – здесь, на Надеждинской, на самом деле была не одна семья, а две, и очень разные, здесь было не одно «странно», а два, но Лиле оба уклада были одинаково чужды.

Огромная красивая квартира на углу Невского и Надеждинской принадлежала вовсе не Левинсонам, а бывшему присяжному поверенному Илье Марковичу Белоцерковскому – он со своей семьей жил в этой квартире еще до революции. Белоцерковский был в Петербурге человеком известным, считался одним из лучших столичных адвокатов и даже однажды защищал членов первой Государственной думы, и дом Ильи Марковича был открытый, гостеприимный, здесь собиралась самая утонченная петербургская публика – поэты, писатели, художники, музыканты. В сущности, это была обычная история: талантливый трудолюбивый муж зарабатывает деньги, а его прелестная жена одинаково страстно любит искусство и быть в центре внимания... Уставший от трудов, муж изредка выходит к гостям, которые щебечут о чем-то своем, ему непонятном, а он, муж, не сводит глаз со своей красавицы жены, счастливый тем, что обеспечил ей все – и безбедную жизнь, и поэтов, и писателей, и художников, и музыкантов.

Лилия, вынырнувшая из своего замкнутого мирка, состоявшего из отца, нянек, гувернанток, бонн и учителей, пред-

ставляла себе этот божественный мир как мечту, как сказку, — здесь все было не так, как у них с отцом, модней, пышнее, совсем не похоже на те скучнейшие визиты, которые они иногда наносили с отцом.

Лиля удивлялась: разве так бывает, что Леничке с детства разрешалось выходить к гостям и быть сколько захочет? Она-то сама твердо знала, в каком возрасте ей разрешат выйти к гостям на десять минут, когда ее впервые повезут на званый обед, какие визиты ей можно наносить вместе с отцом, когда у нее будет выход в свет, первый бал...

Эта свобода, легкость, божественные привычки — все это было удивительно, но... все же Белоцерковские были людьми пусть не одного с ней круга, не схожего по воспитанию, укладу жизни, но хотя бы схожему по манерам.

Но все это было прежде, а теперь это был не дом Белоцерковских, отца и сына, а именно что дом Левинсонов, и все, абсолютно все в доме Левинсонов было не *comme il faut*!⁹ Леничка как-то сказал Лиле, что, останься с ними его мать, Левинсонов здесь бы не было, она не хотела таких несветских родственников, считала Фаину грубоватой, провинциальной, нахрапистой.

Фаина с мужем и дочерьми приехала к брату из Киева в семнадцатом году, приехала ненадолго, но, оказалось, навсегда. Ася с Диной были образованные барышни — учились в знаменитой в Киеве гимназии Желиной, одной из немно-

⁹ Как положено (*фр.*).

гих женских гимназий с «мужской» программой, и хотя и не светские, не столичные, но быстро освоились в Петрограде. Левинсонов было так много, не столько числом, сколько духом, что теперь это, вне всякого сомнения, был *их* дом, и Белоцерковские как-то съежились, отошли в сторону, и все давно забыли, кто здесь хозяева – столичные жители или бойкие жизнеспособные провинциалы.

Есть люди, которые умеют жить при любом режиме, и Мирон Давидович, с его здоровым практицизмом и доброжелательностью к миру, именно что умел жить – в хорошем смысле.

Поселившись у Белоцерковского, Мирон Давидович сумел защитить его и себя от уплотнения. Он собрал домовой комитет – не из кухарок, как было на Фурштатской, а из бывших хозяев квартир, и сам стал председателем домового комитета. Большую часть квартиры Левинсон оформил как фотоателье, а в домовую книгу записал разных людей. Этих людей в семье называли «знакомые родственники» и «незнакомые родственники», в домовой книге они значились под фамилией Левинсон, и получалось, что в каждой комнате жило по настоящему и фиктивному Левинсону. Вся эта комбинация строилась на том, что она не была полностью фиктивной. Мирон Давидович никому не отказывал в приюте – больше всего на свете он любил помочь, приютить, обогреть, и в квартире действительно часто ночевали знакомые и незнакомые родственники и по утрам высыпались ото-

всюду, как горошины. Лилю поначалу поселили в отдельную комнату, но ей чаще приходилось спать с Асей, чем одной, — комнат в доме было много, и родственников тоже было много. Однажды чей-то знакомый родственник спал в огромном шкафу в прихожей и чуть не довел до сердечного приступа Фаину, выйдя утром из шкафа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.